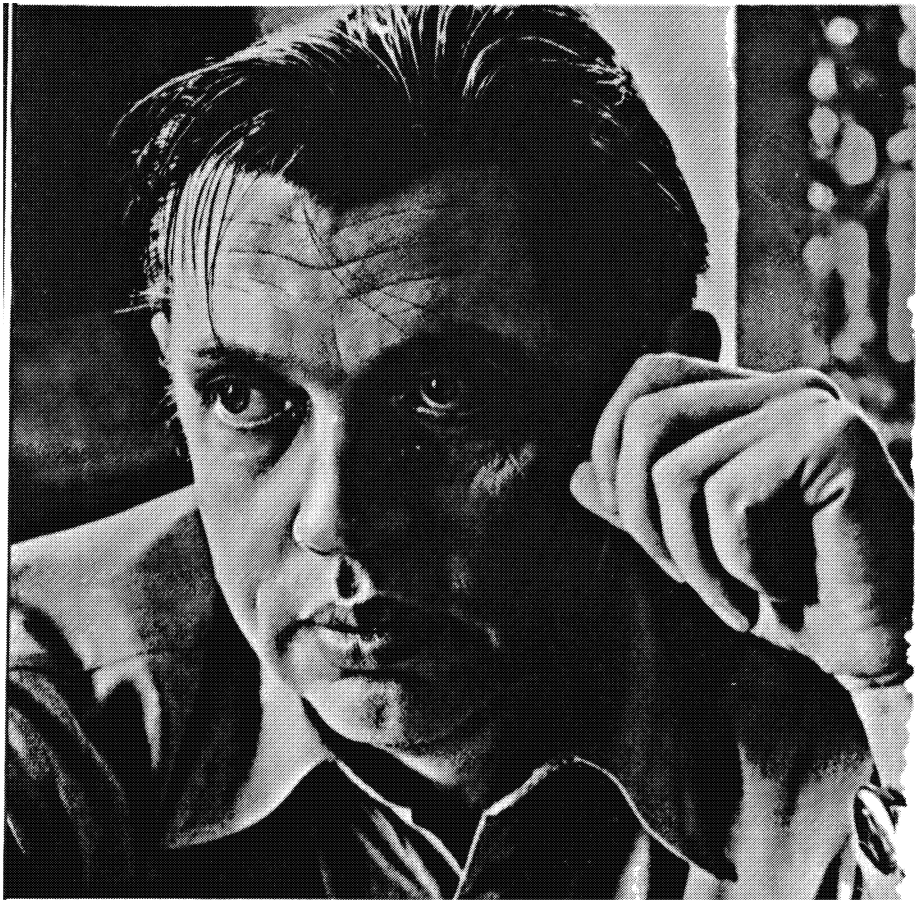
Роберт Рождественский

1

1 Роберт Рождественский



Роберт
Рождественский

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ I

Роберт Рождественский

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ТРЕХ ТОМАХ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1985

Роберт Рождественский

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ПЕРВЫЙ

Стихотворения
Поэмы
Песни
1951—1964

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1985

Р2
Р 62

Предисловие
А. БОЧАРОВА

Оформление
художника
Вл. МЕДВЕДЕВА

Р $\frac{4702010200\text{-}254}{028\ (01)\text{-}85}$ подписное

© Состав. Предисловие. Оформление. Издательство «Художественная литература», 1985 г.

ПОЭТИЧЕСКИЙ МИР РОБЕРТА РОЖДЕСТВЕНСКОГО

Три стихии накрепко слились в поэзии Роберта Рождественского: эпос, лирика и песня.

И это не простое обозначение того, что ему равно подвластны разные литературные жанры: речь идет именно о слиянии поэтических стихий. Его поэмы открыто лиричны, в песнях-балладах отчетливо звучит эпическое начало, а песенная поэтика, песенное мышление заметно окрасили и многие лирические стихи и поэму «Ожидание». Такое многозвучие творческого самовыражения проистекает из богатства и масштабности поэтического мировосприятия.

Легко ощутить это многозвучие, читая нынешний трехтомник: он составлен по этапным книгам, последовательно вбиравшим на протяжении многих лет новые стихи. Столь же ощутимо открывается в трехтомнике развитие его творческого дарования и одновременно — твердая внутренняя устойчивость гражданских и поэтических принципов. А настоящего поэта нет ни вне движения, ни вне устойчивости; только на прочной сердцевине возникает динамичный и целостный мир самобытного художника.

Сегодня Роберт Рождественский — один из известнейших советских поэтов, лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, секретарь Правления Союза писателей, вице-президент Европейского Общества деятелей культуры, автор многих поэтических книг, изданных в нашей стране и за рубежом.

А начинался этот путь три с лишним десятилетия назад. В 1951 году приехавший из Петрозаводска юноша поступил в Литературный институт имени Горького. В 1955 году в Петрозаводске вышла первая книга двадцатитрехлетнего поэта «Флаги весны», а спустя год в Москве — сборник «Испытание», с которого он и ве-

дет отсчет своих этапных книг. В последующие несколько лет появились один за другим семь сборников, быстро раскупавшихся любителями поэзии.

Этот успех был неслучаен. Поэзия Рождественского поднялась под ветром крутых и благотворных общественных перемен, полнившим паруса жизни, паруса советской поэзии середины века. Достаточно напомнить: 1956 год — первый ежегодный сборник «День поэзии», 1957 — первый поэтический вечер в крупнейшей аудитории страны в Лужниках. Поэзия мощно шагнула на эстраду, на телевидение, в огромные, жадно внимавшие аудитории. И одним из признанных лидеров этого поэтического взлета был Роберт Рождественский.

И не оттого ли он и теперь неизменно и открыто социален, как почти все, кто вступал в литературу в те годы: в их творчестве не остывает обжигающий жар гражданственности. «Гражданственность,— сказал поэт на V Всесоюзном съезде писателей,— это свет наших сердец, это то, с чем мы выросли, то, что нас воспитало».

Выступавшие слитно, единой группой, «от имени поколения», Рождественский и его поэтические сверстники затем прочно определились как самобытные, оригинальные мастера, каждый из которых обладает своим голосом, своим поэтическим миром, своими творческими ориентирами.

Меняясь со временем, поэт остается самим собой, хранит верность тому, что накаляло его поэзию, делало ее контрастной, броской, темпераментной, честно стремящейся следовать главным фарватером бытия. Но по мере возмужания таланта укрупнялось само ощущение жизни, увеличивались сложность и масштабность ассоциаций, все серьезнее воспринималась ответственность перед временем, перед людьми, перед своим поэтическим даром:

Мне все труднее
пишется.
Мне все сложнее
видится,—

признавался поэт.

Но и по сию пору он был и остается писателем остро современным, любящим в открытую спорить со своими противниками и прямо обращаться к читателю. Его стих не терпит полутонов, получувств, затаенных намеков, опирается на ораторскую размашистость жеста, на эмоциональную силу гипербол, и это — свидетельство чувства страстного, собранного в луч, а не освещающего виденное ровным светом:

Я найду слова
свои.
Сам найду!
И сам скажу.
А не хватит мне
Земли —
на созвездьях напишу.

Одна из книг Роберта Рождественского называлась «Радар сердца». Вот его поэзия и есть в известной степени такой радар (это современное слово далеко не случайно в лирическом лексиконе поэта) — радар, который чутко реагирует на все происходящее в окружающем мире. Основополагающее качество его поэзии — неподдельная верность сегодняшнему времени, сегодняшним ритмам, сегодняшнему беспокойству планеты.

Творчески воспринявший традиции Маяковского, Рождественский видит долг поэта в борьбе, в непокое, в стремлении уловить биение пульса времени. Да и не очень лежит у него душа к поэзии, которую кто-то придумал именовать «тихой»,— его таланту в большей мере свойственна непосредственность, общительность, эмоциональность. Восприятие мира в его внешней пестроте и глубинных связях родило, например, великолепные врезки в поэму «Посвящение», характеризующие тот многосложный мир, над которым пролетает космический корабль.

Казалось бы, сокровенная внутренняя цельность поэта должна плохо уживаться с накалом гражданских стихов: бурно меняющаяся действительность побуждает быть столь же изменчивой и поэтическую действительность — наплывают и забываются события, успокаиваются одни и возникают другие болевые точки. Внутренне цельными обычно выглядят поэты, склонные к самоуглублению, самосозерцанию, сосредоточенности на своей душевной жизни. Рождественский — один из тех мастеров, у кого пристальный и постоянный интерес к общественным событиям неотрывен от душевной сосредоточенности, глубинных душевных движений, напряженной внутренней работы.

Есть в этом, возможно, биографические истоки. Родился Роберт Рождественский в 1932 году на Алтае. Но его отцу, военнослужащему, часто приходилось менять места жительства,— соответственно «бродячее» детство выпало и Роберту. Не было у него «заветных полей» и «соловьиных рощ». Однажды в течение одного учебного года ему пришлось из-за переездов сменить четыре школы. А около двух лет во время войны он прожил в детском доме: его мать, военврач, находилась на фронте. Так что характер будущего поэта формировали острая смена жизненных впечатлений, все новые и новые знакомства с самыми разными людьми. Да и в последние два

десятилетия он беспрестанно ездит по дальним и ближним краям нашей страны, по многим странам Европы, Африки, Азии, Латинской Америки. «Я очень люблю ездить,— сказал однажды Рождественский,— хотя много раз слышал, что для поэта самое главное — путешествие в себя, в свое сознание, подсознание. Прекрасно понимаю важность таких «путешествий» и все-таки думаю, что их можно совмещать с перемещениями во времени и пространстве». А Константин Симонов так характеризовал эту черту поэзии Рождественского: «Когда поэт рассказывает о времени и о себе, его собственные взаимоотношения со временем определяются тем, как в нем самом, в его голосе и в его личности, звучит этот гул времени». Здесь Симонов справедливо уловил не только биографические истоки, но и твердую творческую позицию: ощущать личную ответственность за все, что делается на земле!

Одним из примеров тому может служить неслучайно ставшее популярным стихотворение «Людям, чьих фамилий я не знаю» — стихотворение, которое мог написать только тот, кто слушает «гул времени». Обращаясь к «безвестным», «секретным» атомщикам и ракетчикам, поэт сумел сказать не только о нашей благодарности «гениальным невидимкам», но и о большем: о тех душевных качествах, которые позволяют в наш суровый век верить в благоразумие человечества, о готовности посвятить свою жизнь людям, о верности нелегкому долгу:

От чужого укрыты взгляда,
от любого укрыты взгляда,—
ничего не поделаешь —
надо,
ничего не попишешь —
надо.

Благодаря своеобразным повторам, на которых держится четверостишие, весомо звучит мысль о том, что если естественно быть укрытым от чужого взгляда, то как трудно жить укрытым от любого взгляда. И тогда начинается второе двустишие, где с абсолютным поэтическим слухом найден новый повтор: произнеси поэт свои слова дружеского утешения лишь один раз — они прозвучали бы легковесно, небрежно. А повтор придает строфе силу искреннего добросердечия, полного понимания того, что это тяжело, но необходимо. И поневоле повторяешь за поэтом: ничего не попишешь — надо. И уже прилагаешь этот нравственный вывод к себе, к своему поведению в жизни.

Так бьется в его стихах пульс времени, становясь личным поэтическим переживанием. Впрочем, настоящего поэта нельзя «отомкнуть» одним определением, одной формулой, сколь бы ни были

это определение, эта формула лестными или возвышенными. Так происходит и с творчеством Роберта Рождественского.

У этого поэта, воспринимающего события сегодняшней жизни «радаром сердца», необычайно сильна глубина исторической памяти. «Память, память...— писал он в одной из статей.— Никуда от нее не денешься, не скроешься, не уедешь. Пласты в ней — как годовые кольца внутри дерева: все близки, все рядом, все около сердца». Прежде всего для него это память о революции, память о войне. Именно революция и война властно напоминают живущим сегодня о их долге перед павшими, о верности высоким идеалам, об ответственности за продолжение победных завоеваний.

Одной из заметных поэтических вершин стала поэма «Двести десять шагов», удостоенная Государственной премии СССР. В полной мере проявилось в поэме стремление ощутить этот ход времени, преемственность героических традиций — от давних российских дней до свершений, устремленных в будущее.

Двести десять — неизменная мера шагов караула, идущего от Спасской башни к Мавзолею Ленина. И пока звучат в торжественной тишине эти шаги по Красной площади, поэт вспоминает исторические шаги, пройденные страной и народом, размышляет о вчерашнем и сегодняшнем нашем дне, о вечном торжестве революционного дела.

К этой поэме — седьмой в его творчестве — Рождественский подошел, в полной мере овладев лиро-эпической полифонией. Поэму образуют четыре опорные главы: «Труд», «Война», «Мир», «Пуля» и четыре отступления: «Лирическое отступление о школьных оценках», «Историческое отступление о крыльях», «Нелирическое отступление о дорогах», «Утреннее отступление о Москве». Они вобрали и пафос, и мечту, и иронию, и лиризм. А прорезая, перемежая эти главы и отступления, идут «Шаги» — то ли врезки, то ли дающие тон удары. Удары боли, удары памяти, удары гордости за свершенное и свершаемое.

Гул шагов.
Каждый шаг —
будто веха.
Это —
сердце стучит.
Сердце века.

«Шаги — шаги человека — шаги истории»,— объяснил сам автор движение своей поэтической идеи.

Верность идеалам революции заключена для него прежде всего в поэтизации твердого в своих убеждениях человека — понимаю-

щего, что жить в нынешнюю эпоху и непросто, и ответственно, движимого верностью и твердостью, преданного высокой цели. Именно об этом написаны «Стихи о моем имени», «Баллада о бессмертии», «Латышские стрелки», поэма «Письмо в тридцатый век» и многие другие произведения.

А его злейший враг — неискренность, приспособленчество, мещанство; причем редко — мещанство внешнее, обычно — мещанство духовное, по-обывательски не верящее во вдохновенные порывы человека. Он не любит хлюпиков, не жалует жалующихся, не терпит терпеливых, не смиряется со смирненькими. От первой своей поэмы — «Моя любовь» до последней — «Ожидание» отстаивает поэт непреложность наших идеалов, чистоту наших помыслов. Ему по душе лишь те, кто «дышит громко, смеется громко, любит громко и шепчет громко», как сказано в стихотворении, посвященном актеру Е. Урбанскому — «Другу, которому я не успел написать стихов».

Но особенно сильно и драматично звучит в его поэзии память о Великой Отечественной войне.

Пожалуй, из всех поэтов послевоенного поколения именно Роберт Рождественский так прочно и воодушевленно принял эстафету от поэтов-фронтовиков; словно бы беспрестанно пульсируя, звучит в его поэмах, стихах, песнях мотив памяти-верности, памяти-преклонения, памяти-предостережения. «Баллада о красках», «Мамаев курган», «Я сегодня до зари встану», «Война откатилась за годы и гуды» — это все не стихи «к дате», а нерв его поэзии. Нет у него ни одной книги стихов, куда не вошли бы произведения о войне. Даже известные всем песни из телефильма «Семнадцать мгновений весны», которые формально написаны не о войне, а лишь сопровождают фильм о войне, вероятно, так удались поэту оттого, что в них воплотилось многое заветное для него, для его стихов о войне: и поэтизация долга, и верность памяти, и тоска по родной земле, и соседство лирического шепота и призывной меди.

А выплеснувшийся словно на одном дыхании «Реквием» с его посвящением «Памяти наших отцов и старших братьев...» вот уже более четверти века потрясает каждого, кто читает или слушает его. «Реквием» вдохновил художника-графика С. Красаускаса на цикл гравюр. Композитор Д. Кабалевский создал на текст поэмы ораторию.

Разные голоса звучат в «Реквиеме»: то трагическое и мужественное завещание павших за Родину, то разворачивающееся, как два цвета траурной ленты, обращение к черному могильному камню и к солнцу красному, то звонкая клятва живущих,— но все они сливаются в один голос сердца, старающегося превозмочь боль

всего, что было пережито народом в годы войны, и неспособного забыть о ней.

Но при всей романтичности своего поэтического дара Роберт Рождественский — поэт земной, щедро открытый высокому гражданскому пафосу и обыкновенному отцовскому чувству, способный искренне любить цирк и заглядеться ненароком на «королеву пляжа». Его романтичность — не в исключительности, а в безукоризненной чистоте чувства. «Всю жизнь он говорил и поступал крупно. Ему изначально был свойствен максимализм мыслей, страстей и чувств» — это писал Рождественский о Маяковском, выделяя черты, дорогие и ему самому.

Благодаря открытости его поэтического мировосприятия так богата художественная палитра поэта. В сборнике «Это время», куда включены стихи 1976—1982 годов, рядом стоят героическая «Байкальская баллада», шутливое стихотворение «Новый район», гневно-ироничное «Государственный частник», философское «Если б только люди жили вечно...» — о смерти и бессмертии, построенное на лукаво-серьезном парадоксе: люди мечтают о бессмертии, но как тогда явят себя высшие человеческие доблести?

В море броситься?
Так не утонешь!
На костер взойти?
Так не сгоришь!

Он заключает:

Может, самый главный
стимул жизни
в горькой истине,
что смертны
мы.

И здесь же стихи о заграничных впечатлениях: «Марк Шагал», «Гостиница на Рю-де-Сенн...»; мягкое и раздумчивое «Ретро», лирическое «Этих снежинок смесь...».

На кого-то такое богатство палитры может произвести впечатление некой пестроты, разбросанности. Но не столь же пестра сама жизнь, отражаемая «радаром сердца»? Главное, что за тематической пестротой неизменно стоит цельный лирический характер; ни самососредоточенность, ни пестрота сами по себе ничего не решают — важны глубина и цельность лирического чувства.

И за героико-пафосной интонацией, главенствующей в его поэзии, не должна остаться незамеченной глубинная, менее броская

сторона таланта Роберта Рождественского — лиризм, мягкость, а подчас и незащищенность, ранимость души. Непосредственность лирического высказывания — непременное слагаемое поэтического дара. Даже когда его поэзия бывает по необходимости резкой и гневной, она сохраняет теплоту, человечность — неизменно чувствуешь, что рядом с тобой не вития, не оракул, а собеседник, друг, отзывчивая душа.

Недавняя поэма Рождественского «Ожидание» — это произведение о глубоко личном, интимном чувстве женщины, ждущей любимого, ждущей своего счастья. Текут минуты ожидания встречи под городскими часами — извечным местом свиданий. Сколько юмористических рассказов и рисунков создано на эту тему ожидания под часами! А вот поэт, которому ведома любая человеческая забота, любая человеческая боль, создал поэму о судьбе женщины, о тоске женщины, о надеждах женщины. И «камерная» тема приобрела то качество, которое отличает настоящую поэзию — остроту переживания, глубокое чувство сопричастности к людским судьбам.

По-разному понимают глубину в поэзии. Для одних это только интеллектуальная лирика, для других — обнажение социальных истоков, для третьих — интимность до покаяния в свершенных грехах. Глубина поэзии Рождественского самая простая, самая бесхитростная — и оттого подлинно поэтическая: глубина доверия к читателю. Он не позирует перед читателем, не делит стихи на показательно-возвышенные и заманчиво интимные. Он естествен в любом своем поэтическом движении. А ведь дар быть естественным — многого стоит! Быть в поэзии естественным — так, чтоб не существовало зазора между собственной жизнью и поэтическими декларациями — несравненно труднее, чем найти обличие положительного лирического героя, который будет следовать принципу «Притворись большим и щедрым» (так начинается одно из его стихотворений). Поэт никогда не старается быть ни мудрее, ни тоньше, ни одухотвореннее, чем он есть на самом деле, и открыто делится тем, что заботит, сердит, радует, волнует нас сегодня.

Его поэзия — не описательная, не медитативная; она — беспрестанный разговор: вопросы, реплики, ответы — все то, из чего складывается заинтересованное общение человека с человеком. Мы уже стали писать чуть не о каждом поэте: у него разговорная интонация. Но эта интонация давно перестала быть индивидуальным достоинством какого-либо одного поэта; со времен Маяковского она утвердилась как одна из главенствующих черт современной поэзии, и теперь у каждого **своя** разговорная интонация. Есть своя разговорная интонация и у Рождественского.

Она сказывается не только в структуре самих поэтических фраз, но и в жанровых особенностях его поэзии: у него много поэтических посланий, писем, монологов, словно ему незамедлительно требуется высказаться, выговориться, поделиться увиденным и пережитым с друзьями.

Часто первая строка стихотворения служит своего рода обращением, как бы настраивает все стихотворение, дает ему нужный тон. «Прошу простить, хирург, коль я не так спросил»,— начинается стихотворение «Детскому хирургу Вячеславу Францеву». А ироническое стихотворение, обращенное к «искусствоведу», собирателю сплетен о художниках, открывается строкой: «Интересуешься искусством? Великим, дерзостным, нескучным?»

Обычно Рождественский не очень жалует иносказание, редко упрятывает мысль в поэтическую аллегорию. Сложным поэтическим «ходам» он предпочитает выразительную игру слов: «Мы в зале ожидания живем, но руки в ожидании не складываем», «Есть только дни рождения у женщин, годов рождения у женщин нет!».

Неотъемлемой частью его разговорной интонации является полемика. Она отвечает душе бойца, страстно заинтересованного в том, чтобы отстоять истинное, развенчать ложное, оспорить ошибочное. Легко ощутить это в таких известных стихах, как «Париж, Франсуазе Саган», «Кромсаем лед, меняем рек теченье...». Часто это даже не открытый спор, а столкновение, полемически обнажающее идею произведения. Такова поэма «Посвящение», где контрастно сталкиваются рассказ о полете Гагарина и натужный мещанский шепоток. Такова «Поэма о разных точках зрения», уже самим заглавием предуведомляющая о противоборстве несходных позиций. Таково и небольшое стихотворение, начинающееся со строки «Непонятны голоса Галактик...», где вторая часть, по контрасту с пафосом первой, говорит о том, как на кухне, рядом,

Женщина хлопочет.
Самый близкий,
самый непонятный
человек.

Полемика придает стихам внутреннюю энергию, позволяет на полную мощь использовать любимое оружие поэта — иронию, развернутую в самом широком диапазоне: от разящего памфлета до едва заметной улыбки, от сатирической реплики до лаконичного каламбура.

Именно ирония чаще всего помогает Рождественскому найти правильный тон разговора **во весь голос:** убедить или высмеять, а

не перекричать. Ирония порой действует сильнее, чем пафосное обличение, хотя и требует, как всякое острое оружие, искусного обращения с ней.

Все меньше —
окружающей природы.
Все больше —
окружающей среды,—

так заканчивается стихотворение, посвященное В. Пескову.

Юмор поэта поистине многолик. То веселый — в стихах о сауне: «Но если это — пекло, куда девались черти?» То убийственный, будучи обращен к тем «стыдливым», кому, видите ли, «стыдно в драку лезть крупную, а в мелкую — совсем неудобно». То жизнелюбивый — в стихах о природе: «И облако как сердце, пронзенное стрелой». То восхищенно-уважительный: «Сверхтяжелые ракеты на платформах возлежат». То задорный: «В тебе — четырнадцать тебя вместилось, как в матрешке».

В свободном переходе от иронии к пафосу, от описания к вопросу, от доверительного шепота к разговору в полный голос раскрывается свобода и внутренняя энергия его творческого диапазона, его лирического чувства.

Весомо свидетельствует о полноте и богатстве поэтического творчества Роберта Рождественского и его увлечение песнями. Можно сказать, что он определил здесь свое направление, свой стиль. Многие его песни — «Огромное небо», «Баллада о красках», «Мгновения», «Я сегодня до зари встану», «Свадьба» и другие — стали заметным явлением не только в поэзии, но и во всей певческой культуре, оказали несомненное влияние на композиторский и исполнительский стиль эстрадных песен.

Первую песню поэт написал еще в 1955 году. Но наибольшего взлета, наибольшей самобытности и значительности его песенное творчество достигло в середине 60-х и в 70-е годы. В песнях мы встречаем и стихи, положенные на музыку, и стихи, созданные на мелодию, ранее сочиненную композитором. Так, к примеру: для фильма «Семнадцать мгновений весны» песня «Мгновения» была написана М. Таривердиевым на готовые стихи, а «Песню о далекой Родине» поэт создал на рожденную композитором мелодию. В редком для поэтов умении проникнуться настроением услышанной мелодии и сочинить не «подтекстовку», а оригинальное, вдохновленное именно этим настроением и ритмом песенное стихотворение сказывается, очевидно, великолепный музыкальный слух Рождественского: не прошла даром его детская учеба в Третьем Московском военно-музыкальном училище на Таганке.

Хотя песня-плакат отличается от задорной спортивной, маршевая от лирического вальса, а героическая баллада от шуточных куплетов,— секрет любой хорошей песни заключается в своеобразном преодолении этого противоречия. Возьмем почти наугад:

Вновь зима в лицо мне вьюгой дунула,
и навстречу ветру я кричу:
«Если я тебя придумала,
стань таким,
как я хочу!»

В этих строках как-то по-особенному, по-песенному взаимодействуют необычность «вьюжной» обстановки и естественность общего всем людям желания — чтобы дорогой тебе человек стал лучше, чище, достойнее твоей любви. И благодаря удачно найденному афоризму это общее всем желание наполняется своим неповторимым индивидуальным содержанием, вызывает активное сопереживание.

«Настоящая песня,— писал Рождественский,— не может и не хочет жить отдельно от людей, отдельно от народа.

Точно так же, как и человек не может быть отделен от хорошей песни. Потому что она часть его души, его памяти, его сердца».

Конечно же, популярности многих песен Рождественского способствует та человечность и теплота, которая заложена в его поэзии: песня должна быть доброй, способной утешить человека в беде и разделить с ним радость, воодушевить на высокие порывы и поддержать никогда не покидающую надежду. И в этом смысле песня — не какой-то особый «материк» творчества со своими темами, чувствами, ассоциациями, а органическая часть всей поэзии; не случайно многие его песни публикуются в сборниках среди лирических стихотворений.

Свидетельством успеха Роберта Рождественского на песенном поприще могут служить хотя бы первые премии на Международном конкурсе политической песни в 1969 году за «Балладу о спасенном знамени» и на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Софии за песню «Огромное небо», главный приз фестиваля в Сопоте в 1972 году, отданный песне «За того парня».

Мы знаем, что литературный путь — не равномерное и непременное восхождение со ступеньки на ступеньку, а трудное, порой мучительное преодоление самого себя, каждый раз заново решаемая задача воспроизвести новый жизненный материал. Тем отраднее заметить, что Рождественского не коснулось ни одно модное поветрие поэзии последнего времени. В его стихах сохраняются та уверенность и цельность, та устойчивость воззрений, которые

далеко не всегда и не всем даются. И нужно по достоинству оценить эту внутреннюю надежность, добротность лирического характера.

В трехтомнике представлены стихотворения, поэмы, песни. А ведь есть еще переводы, книга публицистических очерков «И не кончается земля...», статьи, собранные в книгу «Разговор пойдет о песне», большая и принципиальная статья — своего рода символ веры — о поэзии Маяковского «Свое дожить...».

Здесь же перед нами только собственно поэтическое творчество — творчество поэта сильного, внутренне гармоничного, твердо выверившего свои жизненные и художественные ориентиры.

Анатолий Бочаров

СТИХОТВОРЕНИЯ
ПОЭМЫ
ПЕСНИ

Из сборника
ИСПЫТАНИЕ
1951—1956

РЕЧКА ИНЯ

Над ущельями,
над сутолокой круч,
над дорогой,
убегающей вниз,
уцепившийся за солнечный луч,
жаворонок легкий повис.
Я его не слышу.
Для меня
жаворонок этот —
не в счет.
Я пришел туда,
где течет
маленькая речка Иня.
Что, казалось бы, такого
в ней?
Ручеек течет меж камней.
Переплюнуть можно,
вброд перейти,
перепрыгнуть без усилий почти.
Речка, речка!
Понимаешь ли ты,
почему
по перекрученной тропе
я пришел твоей напиться воды,
я пришел за песней
к тебе?
...В белой пене,
в тучах брызг
сгоряча

вниз,
в долину,
ты летишь с вышины,
вдохновенно и сердито урча
и локтями раздвигая валуны.
Холод тонких
мартовских льдин
ты несешь в темно-зеленом нутре...
У меня приятель есть один,—
он скривился б,
на тебя посмотрев.
Он сказал бы,
брови выгнув в дугу,
оглядев твой бешеный бег:
— Этих глупых
маленьких рек
я никак понять не могу.
Для чего они?
Кому нужны?
И вообще, зачем в них
вода?
Если в речке
нет глубины,
разве ж это речка тогда?
Разве ж она сможет,
звеня,
славу о себе
пронести?..

Ты прости его,
речушка Иня!
Несмышленый он еще.
Ты прости.

ОЖИДАНИЕ

Так
    любимых не ждут у порога.
Так
    к больному не ждут и врача...
Пыль
        на рыжих
                степных дорогах —
хоть картошку пеки —
горяча.
Люди мнут фуражки в руках,
от полей глаза отводя...
Я впервые увидел,
как
ждут дождя.
Ждут,
        выдумывая всевозможные сроки,
ждут,
        надеясь на чудо,
ждут,
        матерясь:
— Пусть дороги развозит.
Плевать на дороги!
Лишь бы дождь.
Пусть тогда хоть по горло
                грязь.—
А земля горит.
От жары —
            как в броне.
А земля говорит:
— Помогите мне!

Без воды,
без дождя
больше я не могу...
Помогите!
Ведь я
не останусь в долгу.—
Как ей скажешь:
— Выдержи!
Подожди! —
Чем поможешь?
Минуты, как вечность, идут...
Люди ждут и молчат.
Люди курят и ждут...

Ты мне пишешь:
в Москве у вас
снова дожди.
Снова дождь.
По бульвару опять не пройдешь.
Снова дождь.
По обочинам мчат ручейки.
Дождь идет по Москве —
теплый,
ласковый дождь...
Там скрываются от него,—
чудаки! —
надевают плащи,
открывают зонты,
начинают погоду ругать с утра,
ходят хмурые...

Если б увидела ты,
как, негаданно
вымахнув из-за бугра,
мчит,
дороги не разбирающий,
через поле
к нам
напрямик,
так пылящий,
будто пылающий,
сельсоветовский грузовик.
Председатель выпрыгивает на ходу,
он кричит,

а глаза блестят, как от голода:
— Будет
дождь!
Мне сейчас...
звонили из города.—
Пошатнулся.
И дальше, словно в бреду:
— Туча...
мне звонили...
свернула сюда...
к нам идет...
Если мимо, то...
быть...
беде...

Ты мне пишешь,
что вам надоела вода.
Напиши,
напиши мне об этой воде.
О дождях напиши мне!
О том,
как тяжел
воздух перед грозой...
На погоду не жалуйся!
Напиши,
чтоб он был, этот дождь,
чтоб он шел!
Пожелай нам ливня,
пожалуйста.

УТРО

Владимиру Соколову

Есть граница между ночью и утром,
между тьмою
и зыбким рассветом,
между призрачной тишью
и мудрым
ветром...

Вот осиновый лист трясется,
до прожилок за ночь промокнув.
Ждет,
когда появится солнце...
В доме стали заметней окна.
Спит,
раскинув улицы,
город,
все в нем —
от проводов антенных
до замков,
до афиш на стенах,—
все полно ожиданием:
скоро,
скоро!
скоро!! —
вы слышите? —
с к о р о
птицы грянут звонким обвалом,
растворятся,
сгинут туманы...

Темнота заползает
в подвалы,
в подворотни,
в пустые карманы,
наклоняется над часами,
смотрит выцветшими глазами
(ей уже не поможет это),—
и она говорит голосами
тех,
кто не переносит
света.
Говорит спокойно вначале,
а потом клокоча от гнева:
— Люди!
Что ж это?!
Ведь при мне вы
тоже кое-что
различали.
Шли,
с моею правдой не ссорясь,
хоть и медленно,
да осторожно...
Я темней становилась нарочно,
чтобы вас не мучила совесть,
чтобы вы не видели грязи,
чтобы вы себя
не корили...
Разве было плохо вам?
Разве
вы об этом тогда
говорили?
Разве вы тогда понимали
в беспокойных красках рассвета?
Вы за солнце
луну принимали.
Разве я
виновата в этом?

Ночь, молчи!
Все равно не перекричать
разрастающейся в полнеба зари.
Замолчи!
Будет утро тебе отвечать.
Будет утро с тобой говорить.

Ты себя оставь
для своих льстецов,
а с такими советами к нам
не лезь —
человек погибает в конце концов,
если он скрывает
свою болезнь.
...Мы хотим оглядеться
и вспомнить теперь
тех,
кто песен своих не допел до утра...
Говоришь,
что грязь не видна при тебе?
Мы хотим ее видеть!
Ты слышишь?
Пора
знать,
в каких притаилась она углах,
в искаженные лица врагов взглянуть,
чтобы руки скрутить им!
Чтоб шеи свернуть!

...Зазвенели будильники на столах.
А за ними
нехотя, как всегда,
коридор наполняется скрипом дверей,
в трубах
с клекотом гулким проснулась вода.

С добрым утром!
Ты спишь еще?
Встань скорей!
Ты сегодня веселое платье надень.
Встань!
Я птицам петь для тебя велю.
Начинается день.
Начинается
день!
Я люблю это время.
Я
жизнь люблю!

ВЫБОР

Вот здесь бы остаться!
Леса за окошком бескрайны.
Подальше б от станций
рвануть к себе ручку стоп-крана,
сказать себе:
брось, ты
особенной доли не требуй!
Останься,
чтоб просто
смотреть на июньское небо,
из речки напиться,
потрогать чудны́е растенья,
подсвистывать птицам,
шмелиное слушать гуденье...
Чего ты все ищешь?
Довольно по свету шататься!
Останься,
дружище!
Ведь это же легче —
остаться.
Останься!
И сразу
не будет стучать в перепонках,
не будет ни грязи,
ни тряски,
ни плача ребенка
в соседнем купе,
ни тоски,
ни слепящего пота.

Неужто тебе
убежать от всего неохота?!
Да разве забыл ты,
как жгли тебя южные полдни,
как чьи-то заботы
бывали твоими?
Ты вспомни,
как ездил,
как жил,
как за горло хватала усталость.

Ну ладно.
Решил.
Я останусь.
Пусть так.
Я останусь.
Ведь мне будет легче.
Ведь я заслужил это право...
Пусть лягут на плечи
тяжелые росные травы,
пусть так, как всегда,
будут мимо
идти эшелоны.

Но будут гудеть поезда
и мелькать за окном запыленным
немые разъезды,
таежные, хмурые чащи.
Но кто-то
займет мое место
в вагоне стучащем
и будет мечтать
о путях
неизведанных самых,
и будут встречать
не меня на далеких вокзалах.
Я струшу.
Сбегу.
Будет песня моя не допета...

Нет, я не могу.
Не хочу.
Не согласен на это!
Нет, я не останусь!

Пусть душно и пыльно в вагоне,—
нет, я не устану
за ветром бросаться в погоню!
Пусть жребий мне выпал
без сна
обходиться помногу,
но если есть выбор,
то я выбираю —
дорогу!

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ

Смертью, которой грозят нам
враги, сбретем мы бессмертье...
Муса Джалиль

До рассвета семьдесят восемь минут.
На рассвете
ключ заскрипит в замке,
на рассвете в камеру люди войдут
и пролают приказ на чужом языке.
А потом будет десять визжащих дверей,
коридорный сквозняк,
молчаливый конвой.
Будет яма на тесном тюремном дворе
и тяжелое небо
над головой.
Автоматчики тупо шеренгу сомкнут.

До рассвета семьдесят восемь минут.
И сейчас,
на распухшие пальцы дыша,
задыхаясь,
спеша,
обгоняя рассвет,
пишет песню,
последнюю песню,
поэт
чуть заметным обломком карандаша.
Пусть от долгих допросов гудит голова,
пусть больная рука тяжелее свинца...
Но приходят
единственные слова,

как приказ,
как присяга,
как клятва бойца.
Пишет,
пишет поэт...

И кончается ночь.
За стеною глухая команда слышна...
Даже фронт наступающий,
даже страна
не успеют,
не смогут,
не в силах помочь!

Я хочу,
чтоб ко мне его твердость пришла,
чтоб не смел ни минуты растрачивать я,
чтобы каждая песня
такою была,
будто это
последняя песня моя,
будто брезжит уже за окошком рассвет,
а враги ненавидят меня и клянут,
будто жить мне осталось
не семьдесят лет,
а семьдесят восемь
минут.

О РАЗЛУКЕ

Ты ждешь его теперь,
когда
вернуть его назад
нельзя.

Ты ждешь.
Приходят поезда,
на грязных спинах
принося
следы дорожных передряг,
следы стремительных дождей...
И ты,
наверно, час подряд
толкаешься среди людей.
Зачем его здесь ищешь ты —
в густом водовороте слов,
кошелок,
ящиков,
узлов,
среди вокзальной суеты,
среди приехавших сюда
счастливых,
плачущих навзрыд?

Ты ждешь.
Приходят поезда.
Гудя,
приходят поезда...
О нем
никто не говорит.

И вот уже не он,
а ты,
как будто глянув с высоты,
все перебрав в своей душе,
все принимая,
все терпя,
ждешь,
чтобы он простил тебя...
А может,
нет его уже...
Ты слишком поздно поняла,
как
он тебе необходим.
Ты поздно поняла,
что с ним
ты во сто крат сильней была...
Такая тяжесть на плечах,
что сердце
сплющено в груди...
Вокзал кричит,
дома кричат:
«Найди его!
Найди!
Найди!»

Нет тяжелее ничего,
но ты стерпи,
но ты снеси.
Найди его!
Найди его.
Прощенья у него
проси.

В ПУТИ

Берега зеленые-зеленые
за кормою медленно растаяли,
волны
цвета неопределенного
возле парохода ходят стаями.
Вряд ли полдень может быть удачнее.
Тишина.
Вода как будто олово...
Девушка сидит на чемоданчике,
на руки склонив устало голову.
Ласковая,
худенькая,
стройная,—
как же пассажирам не дивиться ей?
Едет медицинскою сестрой она
в бывшую заштатную провинцию.
По дороге вязкой,
будто вспаханной,
медсестра приедет поздним вечером
в городок,
еще смолою пахнущий
и пока
на картах не отмеченный.
К борту парохода с плеском ластятся
волны
цвета неопределенного.
Едет девушка в цветастом платьице,
в город свой заранее влюбленная...

СТРАННЫЙ ФЕВРАЛЬ

Что это с февралем?
Что он,
сошел с ума?

С крыши — капель ручьем,
а говорят:
зима...
Звоном разбужена рань,—
как о таком судить?
Что ж это ты, февраль,
шутки вздумал шутить?
Пожалуйста, это брось,—
прими посолидней вид,—
лужи-то хоть
заморозь,
а то ж это просто стыд —
выше нуля в тени,
в парке сплошная грязь...
Слышишь, февраль,
крутани
снегом в последний раз!
Ну-ка, тряхни стариной!
Разбудоражь нам кровь,
снежною белизной
озимь в полях укрой...
Выглядишь киселем.
Стань
настоящим малым!
Будь собою,
будь февралем,
не притворяйся маем!

***

Девчонки опаздывают на свиданья.
Так принято.
С этим надо считаться.
Летят они к месту,
где в ожиданье
ребятам осточертело скитаться.
Ребята в отчаянье кепки мнут
целых сорок минут.
Но они обидятся,
если вдруг им
начнешь —
про любовь и «порывы страсти».
Они
запыхавшимся подругам
говорят как можно небрежнее:
«Здрасте!»
И все.
И мальчишке становится жарко.
Окинув веселую улицу взглядом,
он чинно шагает
с девчонкой рядом,
боясь даже взять ее за руку.
Вместе им
и хорошо
и неловко,
но вот,
в себе заглушая ропот,
он предлагает попить газировки
и добавляет:
«С сиропом!!»

...Не смейся!
Давно ли мы сами были
такими?
Помнишь наши свиданья?
Помнишь,—
злясь на себя,
грубили
девчонкам,
наихитрейшим созданьям?
Помнишь?
Смеяться над этим не надо.
Как ее звали?..
Наташей,
Натой.
Где же ты, Натка?
Певунья Натка?
Смешные стихи в голубых тетрадках.
Возле реки пионерский лагерь.
К солнцу летящие флаги...
Улыбки прохожих не замечая,
мальчишка шагает рядом с девчонкой...

Ты не мешай им.
Ты не смущай их.
Давай отойдем в сторонку.

***

А. К.

Приходить к тебе,
чтоб снова
просто вслушиваться в голос
и сидеть на стуле, сгорбясь,
и не говорить ни слова.
Приходить,
стучаться в двери,
замирая, ждать ответа...
Если ты узнаешь это,
то, наверно, не поверишь,
то, конечно, захохочешь,
скажешь:
«Это ж глупо очень...»
Скажешь:
«Тоже мне —
влюбленный!» —
и посмотришь удивленно,
и не усидишь на месте.
Будет смех звенеть рекою...

Ну и ладно.
Ну и смейся.
Я люблю тебя
такою.

БЕЗ ТЕБЯ

Хотя б во сне давай увидимся с тобой.
Пусть хоть во сне
твой голос зазвучит...
В окно —
не то дождем,
не то крупой
с утра заладило.
И вот стучит, стучит...
Как ты необходима мне теперь!
Увидеть бы.
Запомнить все подряд.

За стенкою о чем-то говорят.
Не слышу.
Но, наверно,— о тебе!..
Наверное, я у тебя в долгу,
любовь, наверно, плохо берегу:
хочу услышать голос —
не могу!
Лицо пытаюсь вспомнить —
не могу!..
...Давай увидимся с тобой хотя б во сне.
Ты только скажешь, как ты там.
И все.
И я проснусь.
И легче станет мне...

Наверно, завтра
почта принесет
письмо твое.

А что мне делать с ним?
Ты слышишь?
Ты должна понять меня —
хоть авиа,
хоть самым скоростным,
а все равно пройдет четыре дня.
Четыре дня!
А что за эти дни
случилось —
разве в письмах я прочту?!
Как эхо от грозы, придут они.

Давай увидимся с тобой —
я очень жду —
хотя б во сне!
А то я не стерплю,
в ночь выбегу
без шапки,
без пальто...
Увидимся давай с тобой,
а то...

А то тебя сильней я полюблю.

***

Любовь.
Мы об этом читали в книжках.
Любовь.
Мы такое понять не могли.
Но постепенно мужали мальчишки
и вот до нее доросли.

А помнишь —
мы с ней не хотели знаться
и часто, пути для себя выбирая,
ее мы считали,
лет до тринадцати,
чувством,
которое все презирают.
Строгая кинжалы ножом перочинным,
ровесниц вгоняя сраженьями в трепет,
решали мы, что настоящий мужчина —
тот,
который девчонок не терпит,
а если случалось,
то знал любой,
смеясь,
читали на стенах прохожие:
Вова + Лида = любовь.

А тут — не такая!
А тут — непохожая.
А тут —
то близкая, то далекая —
пришла и выволокла на улицу.

Первая
(мне говорили: легкая),
верная
(мне говорили: забудется!).
Мне говорили:
ни в коей мере
любовь пошатнуть тебя
не должна!
Мне говорили,
а я не верил...
Мне говорили так,
а она
опять будоражила и удивляла,
то криком крича,
то дразня,
то играя.
Смеяться и плакать она заставляла,
и не было ей ни конца ни края!
Она была в жестах,
в улыбках и взглядах,
она была в ссорах,
в словах откровенных,
она была в каждом движенье
и в клятвах,
наивных,
смешных,
но действительно верных.

ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ

После обидных речей
валится дело из рук...
Нас окружили вдруг
тысячи мелочей.
Тысяча глупых обид,
тысяча мелких ссор.

Может быть,
это
    все
и называется «быт»?
Может, положено так,
попросту говоря?
Может быть, я —
                чудак,
и это волненье зря?
Ведь непонятно,
                чья тут вина,
и даже причин не видно...
Но тысяча капель —
                уже волна,
а тысяча мелких камней —
лавина.

...И вот уже за мелочами
большого не замечаем мы,
и вот уже ты умолкла
и стала ссорой
размолвка.
Ты ей и сама не рада.

Так что же тогда?
Послушай!
Не верю, что так и надо,
что будет без этого скучно.
Хочу научиться
и не могу
обиды сносить умеючи,
чтоб в сердце не лезли на каждом шагу
проклятые эти мелочи.

ПИСЬМО ДОМОЙ

Мама, что ты знаешь о ней?
Ничего.
Только имя ее.
Только и всего.
Что ты знаешь,
заранее обвиня
ее в самых ужасных грехах земли?
Только сплетни,
которые в дом приползли,
на два месяца опередив меня.
Приползли.
Угол выбрали потемней.
Нашептали и стали, злорадствуя, ждать:
чем, мол, встретит сыночка
родная мать?
Как, мол, этот сыночек ответит ей?
Тихо шепчут они:
— Дыму нет без огня.—
Причитают:
— С такою семья — не семья.—
Подхихикивают...
Но послушай меня,
беспокойная мама моя.
Разве можешь ты мне сказать:
не пиши?
Разве можешь ты мне сказать:
не дыши?
Разве можешь ты мне сказать:
не живи?
Так зачем говоришь:
«Людей не смеши»,

говоришь:
«Придет еще время любви»?

Мама, милая!
Это все не пустяк!
И ломлюсь не в открытые двери я,
потому что знаю:
принято так
говорить своим сыновьям,—
говорить:
«Ты думай пока не о том»,
говорить:
«Подожди еще несколько лет,
настоящее самое будет потом...»
Что же, может, и так...
Ну, а если — нет?
Ну, а если,
решив переждать года,
сердцу я солгу и, себе на беду,
мимо самого светлого счастья пройду,—
что тогда?..

Я любовь такую искал,
чтоб —
всего сильней!
Я тебе никогда не лгал!
Ты ведь верила мне.
Я скрывать и теперь ничего не хочу.
Мама, слезы утри,
печали развей —
я за это жизнью своей заплачу.
Но поверь,—
я очень прошу! —
поверь
в ту, которая в жизнь мою светом вошла,
стала воздухом мне,
позвала к перу,
в ту, что сердце так бережно в руки взяла,
как отцы новорожденных только берут.

***

Слова бывают грустными,
слова бывают горькими.
Летят они по проводам
низинами,
пригорками.
В конвертах запечатанных
над шпалами стучат они,
над шпалами,
над кочками:
«Все кончено.
Все
кончено...»

МОЯ ЛЮБОВЬ

(Поэма)

Поэма началась в груди,
грудь разорвать грозя.
Теперь ее,
как ни крути,
не написать
нельзя.
Я ею бредил по ночам,
берег ее, как жизнь.
Я на руках ее качал
и повторял:
— Пишись!
Пишись! —
Я требовал,
но мне
ответил ворох строк:
— Постой!
А был ли ты в огне?
Месил ли
пыль дорог?
Встречал ли ты в атаке смерть?
Привык ли ты дерзать?
И так ли знаешь жизнь,
чтоб сметь
о ней другим сказать?..—
Сердце,
а что я знаю?
Ты подскажи мне тихо.
Знаю, что на Алтае
было село Косиха.

Было село —
я знаю —
крошечного значенья...
В речке вода парная
после грозы вечерней...
Сердце,
а что я помню?
Лес голубой стеною.
Помню — уходят кони
через село в ночное.
Помню еще я:
мама
на руки поднимала...
Сердце,
но это ж мало!
Это же очень мало!
Возле глухой ограды
чуть шелестит отава...
Сердце,
а может, правда,
я не имею права?
Пусть, затихая,
песня
будет на жизнь в обиде —
что расскажу я,
если
очень немного
видел.
Если мир перед глазами
был на диво мал...
Мы о нем узнали сами
и из сказок мам.
Нам о нем твердили в школе:
чуть ли не с шести
мы учили,
что такое
дальние пути,
что такое гнев и жалость,
что такое честь...
Мы учились.
Нам казалось:
это
жизнь и есть.

Мы учились,
а вглядеться —
окажусь я неучем,
потому что,
кроме детства,
и сказать-то не о чем.
Вновь иди,
слова ищи
за семью широтами...
Вышли в жизнь товарищи
слишком желторотыми.
Вышли в жизнь романтики,
ум
у книг занявшие,
кроме
математики
сложностей не знавшие.

...Впервые взаправду дорога качала,
впервые мечты повели за собою,
впервые любовь
подсказала начало
поэмы,
которая стала судьбою.
Сквозные вокзалы
и запахи дыма,
гудков паровозных протяжная медь,
слова,
что я говорил любимой,
мне приказали
сметь.

1

Протянуло солнце нити,
солнце бьет прохожим в лица.
Я прошу вас:
объясните,
что на улицах творится?
Что же это?
Как же это?
Это я
или не я?

Жмурясь весело от света,
ходят люди пьяные.
Ходят,
очень неумело
землю
пробуя шагами.
Кто-то с крыш просыпал мелочь,
и она звенит о камни,
разбивается на части.
Стены от капели мокнут.
Люди ходят
и от счастья
ничего сказать не могут.
Блещет вымытыми стеклами
мир —
сплошная новизна.
В мире наступила теплая,
настоящая весна.

А если к весне
прибавить письмо,
а если в письме написать:
«твоя»,
то кто б из вас выдержать это смог?
Не выдержал это
и я.
И вот — вагон!
Летящая тьма.
Бессонная ночь,
перестук колес.
Полсуток дороги —
и ты сама,
почти задохнувшаяся от слез,
от майского ветра...
Лентой прямой —
улица.
Площадь.
Обычный дом.
Твой голос:
«Вот здесь я живу...»
И мой:
«Может, к тебе —
потом?..»

Но ты,
подыскивая слова,
шепчешь, что нам все равно по пути,
что мама обидится,
что сперва
надо сюда
зайти.
И умоляющие глаза:
«Прошу...
Ну буквально на полчаса!»

2

Мою фигуру окинув косо,
откуда-то сбоку выплыла дама.
И я как сквозь сон услыхал:
— Знакомься.
Это мама...

И мама, довольную мину сделав,
руку протягивая,
загудела,
что очень приятно,
что очень ждали,
что очень тронуты
и так далее...
И я продолжаю знакомиться с кем-то:
с троюродной теткой, с каким-то соседом,
с папашей...
А в комнате, как по паркету,
течет предобеденная беседа...
Беседа велась филигранно тонко.
Беседа текла до предела тонно.
По правилам
самого доброго тона
гостей угощали антоновкой.
Гости брали.
Гости хвалили.
Гости чинно благодарили.

...Спрашивает мама
об одном и том же.

Говорит,
что прямо
я ответить должен.
Требует ответа,
радость излучая:
— Правда,
что поэты
много получают? —
Я молчу вначале,
недоумевая,
и, пожав плечами,
говорю:
— Бывает...—
А дальше —
тосты и слова,
понятные немногим.
А дальше —
у стола едва
не подгибались ноги.
Картинно лежали колбасные диски,
слезилось весеннее чудо —
редиска,
тугие, пупырчатые огурчики
лежали,
млея,
в зеленой кучке.
А рядом —
по виду неделю не спавший,
водицы болотной тише —
минут через десять
лежал папаша,
изрядненько днем хвативший.
Он мирно похрапывал в такт речам,
а кроме,
несколько раз,
когда тормошили,
«ура»
кричал,
не открывая глаз.
Потом он встал,
поплыл к окну
и, сдержанно икнув,
стал открывать с опаскою
«Советское шампанское».

Мне наливают первому
под трубные громы марша,
и вновь бутылку белого
несет на стол мамаша.
Глаза утирает платочком
и начинает тут же:
— Мы отдаем вам дочку.
Будьте ей добрым мужем! —
Потом,
толкнув супруга в бок
(чтоб он заплакал тоже),
свои слова итожит: —
Пусть вам поможет бог! —
Бокал мой
почти не бывает пуст...
А папа,
набрав винограда в горсть,
встает и пьяно бормочет:
— Пусть
что-нибудь скажет гость.
Назвался груздем —
значит, держись.—
Я поднимаюсь с места
и предлагаю выпить:
— За жизнь! —
А тетка подсказывает:
— За совместную.—
Перекричать стараюсь зря —
со всех сторон
на все лады
довольная родня
«уря»
вопит
и пьет
«за молодых».
«Молодые» —
это мы с тобою.
Что ж, родная,
вроде по спектаклю
надо встать с улыбкою тупою,
выпить и раскланяться.
Не так ли?
Если делать все почти

так,
как в представлении,
надо к маме подойти
под благословение.
Надо под овации,
закусивши кое-как,
нам поцеловаться,
если крикнут:
«Горька-а-а!..»

...Довольно!
Ты знаешь,
становится жутко.
Зачем ты не скажешь,
что все это —
шутка?
Чего ж ты сидишь,
улыбаясь устало,
как будто уже
ничего не осталось?

3

Скажи, что — да!
Что — не права!
Любовь зови на помощь.
Остались в памяти слова,
осталось слово
«помнишь».
Помнишь...
А что ты помнишь?
(Вслушайся хоть немного.)
Помнишь:
снежная полночь.
Медленная дорога.
Холодно.
Кажется даже,
будто около —
полюс...
Город одноэтажный
дремлет в снегу по пояс.
Улицы неживые
сумрачны и тихи.

Помнишь,
тебе впервые
я прочитал стихи?

Снег летел и кружился.
Он тихо садился на ветви,
на застывшую землю,
на зябнущие дома...
Я о ветре читал,
о весеннем,
ликующем ветре,
о звенящих ручьях,
о капелях,
сводящих с ума!
Снег садился и таял,
по капле стекая со щек.
Я о счастье читал,
и дорога мне сказкой казалась.
А оно, это счастье,
шло рядом и улыбалось.
И молчало.
И лишь иногда повторяло:
— Еще.

Помнишь,
как мы ждали
лета молодого?
Помнишь,
мы мечтали
выбежать из дома?
По ручьям журчащим
зашагают ноги,
заберутся в чащу
хитрые дороги.
Там, где лес наполнен
сказками
да байками.
Там, где в жаркий полдень
мох как будто байковый.
Там, где спят озера
возле просек мглистых.
Росы,
будто зерна,
по утрам на листьях.

Смоляные дали.
Сказочное лето...
Помнишь,
как мечтали
мы
об этом?

4

Так что же получается?..
Несут
блины.
Пирушка не кончается,
хоть все пьяны...
Расхваливая яблоки,
мамаша на меня
смотрела,
как на ярмарке
глазеют на коня.
В ухмылочке кривила рот
и, оглядев до точки,
прикидывала вновь:
«Сойдет
за муженька для дочки».
Восторженные гости
шушукались о чем-то.
Я мог бы очень просто
все это бросить к черту!
Я мог бы хлопнуть дверью,
оставив где-то
там
и смех,
и недоверие,
и говорливых дам,
на что-то намекающих
то жестами, то глазками.
Я б мог
наверняка еще
сказать им
пару ласковых!
Таких,
чтоб мама охнула,
таких,
чтоб стекла тенькнули...

Но ты сидела около.
Не где-то.
Не за стенкою.
...Почему молчишь ты так?
Ты ведь рядом.
Ты — со мной.
Почему киваешь в такт
сплетнице очередной?
Или,
может быть,
ты права,
или такая же,
как они?
Или...

Попридержи слова.
Парень,
с выводом повремени!
Погоди!
И я смолчал с трудом.
Погоди!
И я уже сижу.
Хорошо.
Посмотрим,
что — потом.
Я согласен.
Ладно.
Погожу...
Но, на меня не глядя
(как будто незнакома ты),
ты шепчешь мне,
что дядя
достанет скоро комнату.
Не просто,
не за плату,
а так...
по блату.
Что я измучился, поди,
что завтра надо в загс пойти
и что мамаша в этом
поможет нам
советом...
А мама подмигивает тебе,
как будто хочет сказать:

«Так его, доченька!
Верно!
Теперь
его можно запросто взять.
Теленок какой-то,
а не мужчина...
Дело
обтяпано тонко...
Действуй,
крошечка!
Молодчина!
Чувствуется подготовка...»
Гости встают,
улыбаясь пьяно,—
все решено для них,—
гости выходят из комнаты,
явно
нас оставляя одних.
Кружится голова слегка.
Не разберешь лица...
— Милый,
а может, выпьешь пивка?
Может, еще винца?
Хочешь?

Но я уже у дверей.
И, отводя беду:
— Нет...
я лучше...
сейчас уйду...
Нет.
Мне надо скорей...
Нет!
Я пошел уже,
но сперва...
сказать тебе...
что-то хочу...—
Кружится,
кружится голова.
Кружится...
Я молчу.
Все перепуталось...
Правда...
Ложь...

Надо бежать
наутек...

И резкий голос в спину,
как нож:
— До скорой встречи,
зятек!

5

Сердце, слышишь?
Сердце, помоги мне!
Помоги мне отыскать потерю.
Сердце!
Самое святое гибнет!
То, чем жил я.
То, во что я верил.
Оказался очень трудным путь.
Помощь не окажут мне врачи.
Слышишь, сердце?
Слышишь, не молчи!
Помоги.
Скажи мне что-нибудь...
А сердцу что?
Стучит оно
и не дает ответа.
Немало книг прочитано
про это.
Задачи сложные не ждут
спокойствия души.
Они встают
и там
и тут.
И требуют:
Реши!
Реши!
А то тебе —
не жить!
И время не тяни.
Скорей реши!
А как
решить —
не говорят они...
Нас вначале не касалась

жизни трудная огромность.
Нам вначале
жизнь казалась
очень тихой,
очень ровной.
Как на кафельные плиты
вышли мы в недавнем прошлом
в жизнь,
где ставились конфликты
только «лучшего»
с «хорошим».
Мы проверяли это,
мы сгоряча спешили,
нам
давали советы
мудрые старожилы.
Нам советы давали
и, разводя руками,
наши мечты называли
«розовыми очками»...
Это не розовые очки!
Это не розовые мечты!
Вышли безусые пареньки
в мир,
где тропы круты!
Вышли учиться и побеждать,
вышли работать,
но,
где б они ни были,
все равно
будут они мечтать!
И по дороге
самой крутой,
вздыбленной в высоту,
будут идти они за мечтой,
осуществлять мечту!

6

Я слушать согласен любые укоры.
Я мыслями с каждым готов поделиться...
Пусто.
Кажется: вымер город.

И только один старшина милиции
стоит на углу,
тишину храня,
бдительно вглядывается во тьму.
И я, торопясь, подхожу к нему
и говорю:
— Извините меня!
Может, не спрашивать было бы проще,
но вы понимаете сами:
весна...
Я был сейчас в доме...
в том...
через площадь...
Там есть одна девушка...—
А старшина
сурово откашлялся
и потом
вежливо, но безучастно:
— В котором доме вы были?
В том?
Так это не мой участок.—
Но я опять:
— Да нет же...
Послушайте!
Мне одному разобраться сложно...
Я вам хочу...
— Гражданин,
на службе
меня отвлекать не положено.
Идите проспитесь.—
Что ж,
и пойду.
Но вряд ли поможет это...
Иду я по городу
и в бреду
у мамы прошу совета...
— Мама, видишь,
на деревьях почки
вздрагивают от порывов ветра?
Мама,
я пошлю тебе по почте
сразу десять голубых конвертов.
Я устал до головокружения.

Мама,
ты, пожалуйста, прости —
жить на свете,
принимать решенья
оказалось очень не простым.
Ты не жалела сил,—
только бы сын
не пил,
лишь бы он умным стал,
лишь бы не голодал...
Мама!
Я по горло сыт!
Мама,
я не буду пить.
Только я хочу спросить:
как
мне
быть?
Как же это?
Что же это?
Может, просто
я
упрямый
и забыл твои советы,
мама?
Мама...

Спросить бы!
Друзей на помощь позвать бы!
Но речь у многих одна:
— Чего там думать!
Кутнем на свадьбе.
Валяй, смелей, старина!
Не ты последний.
Так что не трусь,
над чепухою не бейся! —
И сразу же
сжавшихся пальцев хруст
глушит
глупая песня:
«Заварилась баня.
Затянула тина.
Окрутили парня
очень примитивно».

7

Теперь настанут
мир и тишина.
Теперь не скажут люди ничего.
Остались только шуточки:
«Жена
да убоится мужа своего».
Но жены удивятся и к тому ж
напомнят нам с улыбкой неземной,
что, дескать, в расшифровке
слово
«муж» —
Мужчина,
Угнетаемый
Женой.
Все так, как надо.
Если не спешить,
жизнь утрясется.
Все на место ляжет.
Посмотрим на людей и станем жить
без глупостей,
без выдуманной блажи.
Все как надо.
Но уже
дамы шутят с вызовом:
— С милым рай и в шалаше,
если
с телевизором.—
Я слышал такое.
Я знаю такое.
И я ни за что не останусь спокойным!
Меня прерывают:
— А, собственно, кто ты?
С чего ты
рассказываешь анекдоты?
Зарвался?
Сатирика
корчишь?
Не смешно,
а скорее — тошно!
Ты, приятель,
неважно кончишь.
Это точно!

В вопросах жизни ты круглый ноль.
Тебе ли про это строчить?!
Поныть захотелось?
Пожалуйста, ной!
Но что же ты лезешь учить?
Ты говоришь, что в сердце —
боль.
Ты требуешь участья.
Давай поговорим с тобой
об этом самом счастье.
Ты раньше, дурень,
сох и чах
все время,
а теперь
имеешь дом и свой очаг.
Чего ж еще тебе?
Добра жена да жирны щи —
другого счастья
не ищи.
Наберись терпения,
будь разумным
и
очень скоро гением
станешь
(для семьи).
Будешь ты для женушки
песенки мычать
и кропать стишоночки
в местную печать.

Есть решенье мирное
сложного вопроса,—
понимаешь,
милая,
можно сделать просто:
если сердце теплится,
вздор из мыслей
выкинем,
слюбится —
стерпится,
поживем —
привыкнем.
Нарисуем, если нужно,
радость на лице.

Будем строить очень дружно
счастье-
и-
це!
Будет не жизнь, а сплошные улыбки.
Ходит на цыпочках женушка.
Муж
жену
называет «рыбкой».
Мужа
жена —
«медвежоночком».
Рай, да и только!
И ссориться нечего.
Оба взаимно вежливы.
Мужа
жена
развлекает вечером
сплетнями самыми свежими.
А он,
не смыкая опухших век,
глухо бубнит ночами:
какой хороший он
человек
и какой негодяй
начальник.

И все это будет не просто на месяц.
Ты слышишь?
Навечно
такое дают нам!
И всю эту гнусную,
тихую мерзость
кто-то назвал
уютом?!
Родная!
Неужто и сердце
и тело
за это
ты мне отдала под защиту?
Но если ты этого счастья хотела,
этого счастья во мне
не ищи ты!..

Я жить не хочу,
о покое мечтая,
жить,
накапливая добро,
жить,
пределом счастья считая
столовое серебро,
буфет, до краев набитый посудой,
нервно звенящей на каждом шагу...
Родная, слышишь?
Уйдем отсюда!
Уйдем!
Я здесь дышать не могу!..
Я тебе напомню про рассветы
и про то, как писем ты ждала.

Неужели ты забыла это?
Неужели ты тогда...
лгала?

8

Если так, то надо решить,
надо сразу выбрать пути.
Я любовь
задушу в груди,
но останется сердце
жить.
Сердце!
Звонкой струною стань,
на предельной ноте сдержись!
Слышишь?
Биться не перестань:
это —
лишь начинается
жизнь!

Пусть пока
немало людишек,
травки ниже,
водицы тише,
очень гладких
и, между прочим,

с виду непогрешимых очень.
Не собьет их вроде и шторм.
Мельтешат они
там и тут.
За уютом портьер и штор
очень тихо они живут.
В меру подленьки,
в меру умны,
семенят проторенной дорогою.
Им плевать
на дела страны,
их заботы ее
не трогают!
Им пока еще горя нет.
Их пока еще носит земля.

С кем ты, милая?
Дай ответ!
До конца,
не тая,
не юля.
Я с тобою резок.
Но пусть!
Я не ангел и не святой.
У меня характер крутой —
может, я
не раз ошибусь.
Я не так богат
и деньгу
по кубышкам не берегу.
Сладкой жизни
не предложу.
Но тебе я вот что скажу:
если только хочешь —
решись,
если только сможешь —
приди!
Это будет
честная жизнь
до последнего стука в груди.
Это будет жизнь для людей,
это будет пора труда,
в ней
обходных искать путей

не посмею я никогда.
Не смогу пройти стороной
и солгать
хотя б невзначай...

С кем ты?
С ними
или со мной?
Слышишь ты?
Отвечай!

1954

Из сборника ДРЕЙФУЮЩИЙ ПРОСПЕКТ 1956–1959

***

Я уехал
от весны,
от весенней кутерьмы,
от сосулечной
апрельской
очень мокрой бахромы.
Я уехал от ручьев,
от мальчишечьих боев,
от нахохлившихся почек
и нахальных воробьев,
от стрекота сорочьего,
от нервного брожения,
от головокружения
и прочего,
и прочего...
Отправляясь в дальний путь
на другой конец страны,
думал:
«Ладно!
Как-нибудь
проживем и без весны...
Мне-то, в общем,
все равно —
есть она иль нет ее.
Самочувствие мое
будет неизменным...»
Но...
За семь тысяч верст,
в Тикси,
прямо среди бела дня

догнала весна
меня
и сказала:
«Грязь меси!»
Догнала, растеребя,
в будни ворвалась
и в сны.
Я уехал
от весны...
Я уехал
от тебя.
Я уехал в первый раз
от твоих огромных глаз,
от твоих горячих рук,
от звонков твоих подруг,
от твоих горючих слез
самолет меня
унес.
Думал:
«Ладно!
Не впервой.
Покажу характер свой.
Хоть на время
убегу...
Я ведь сильный,
я —
смогу...»
Я не мерил высоты.
Чуть видна земля была...
Но увидел вдруг:
вошла
в самолет летящий
ты!
В ботах,
в стареньком пальто...
И сказала:
«Знаешь что?
Можешь не убегать!
Все равно у тебя из этого
ничего не получится...»

ОБЛАКА

Хочешь,
оторву кусок от облака?
Вот от этого...
Смотри, какое пухлое...
Проплывает
с самолетом об руку
белой
свежевыпеченной булкою.
На семи ветрах оно замешано,
приготовлено
в дорогу дальнюю...
Солнечный разлив
и тьма кромешная
потрудились над его созданием...
Посмотри:
растет оно и пыжится,
будто в самом деле —
именитое.
Так сурово и надменно движется,
будто все оно —
насквозь! —
гранитное,
монолитное,
многопудовое,
диктовать условия готовое.
Раздувается с довольной миною
и пугает неоглядной толщью:
«Захочу —
и я вас уничтожу!

Захочу,—
наоборот,—
помилую...»
Мне еще все это незнакомо.

Мне,—
сказать по правде,—
страшновато.
Ну, а если облачная вата
в горле у мотора
встанет комом?
Ну, а если небо занавесится
и на нас навалится с опаскою?..
Самолет
по очень длинной лестнице
лезет
к богу самому за пазуху...

Бортмеханик говорит спокойно,
глядя на меня из-под бровей:
— Это все, приятель,
пустяковина...
Будем живы!
Ты уж мне
поверь...—
Он читает «Расщепленье атома»
и поет про свежесть васильков.

Мы летим на север.
Скоро Амдерма.
Мы летим.
Мы выше
облаков.

НЕМНОГО ЭКЗОТИКИ

Ну, и как там?
(Вопрос, на который очень
трудно ответить)

На улице,
как и вчера,—
холодина,
снег,
поземка...
Впрочем,
«улица» —
это большая льдина,
от других отличающаяся
не очень.
Разве что чуть побольше
(а все ж таки край —
недалече).
Разве что чуть покрепче
(но это мы скажем позже,
скажем:
«Спасибо,
льдина!
Выдержала, молодчина»).
Пока
от похвал воздержаться
особая есть причина.
Дело совсем не в страхе!
Не в том,
чтобы кто-то сдрейфил
и вместе с началом дрейфа

начались
«охи и «ахи».
У нас хорошая льдина —
ее выбирали не зря,—
вполне приличная льдина,
но все ж таки —
не земля.
Но все ж таки там,
под нею,
такая вода темнеет,
таким леденящим светом,
что лучше...
не будем об этом...
Не надо!
Кому охота...
Это я просто к слову.

День начинается новый
не с солнечного восхода.
Всему удивляться
какой резон?
Но странно
считать в порядке вещей,
что солнце
из принципа
вообще
не уходит за горизонт.
Мерцает
маленькое пятно
сквозь выцветшую пелену...
Но если ты очень устал,
то оно
вполне заменяет луну.

По радио
диктор неунывающий
нас будит
в восемь часов утра —
в Москве:
«Спокойной ночи, товарищи!» —
значит, вставать пора...
Пора...
И уже минут через пять
мы щурим глаза от света...

«Как нынче погода?
Ветер опять?»
Нет, это не ветер.
Это,
примериваясь
для посадки на лед,
лопастями винтов шевеля,
с достоинством в небе
висит вертолет —
гибрид головастика
и шмеля.

НА ДРЕЙФУЮЩЕМ ПРОСПЕКТЕ ТЫ ЖИВЕШЬ...

Мне гидролог говорит:
— Смотри!
Глубина
сто девяносто три! —
Ох, и надоела мне одна
не меняющаяся глубина!..
В этом деле я не новичок,
но волнение мое пойми —
надо двигаться вперед,
а мы
крутимся на месте,
как волчок.
Две недели,
с самых холодов
путь такой —
ни сердцу, ни уму...
Кто заведует
движеньем льдов?
Все остановил он
почему?
Может, по ошибке,
не со зла?
Может, мысль к нему в башку пришла,
что, мол, при дальнейшем продвижении
расползется все сооружение?
С выводом он явно поспешил —
восхитился нами
и решил
пожалеть,
отправить на покой.

Не желаю
жалости такой!
Не желаю,
обретя уют,
слушать,
как о нас передают:
«Люди вдохновенного труда!»
Понимаешь,
мне обидно все ж...

Я гидрологу сказал тогда:
— На Дрейфующем проспекте
ты живешь.
Ты же знал,
что дрейф не будет плавным,
знал,
что дело тут дойдет до драки,
потому что
в человечьи планы
вносит Арктика
свои поправки,
то смиряясь,
то вдруг сатанея
так,
что не подымешь головы...
Ты же сам учил меня, что с нею
надо разговаривать
на «вы».
Арктика пронизывает шубы
яростным дыханием морозов.
Арктика показывает зубы
ветром исковерканных
торосов.
Может, ей,
старухе,
и охота
насовсем с людьми переругаться,
сделать так,
чтоб наши пароходы
никогда не знали
навигаций,
чтобы самолеты не летали,
чтоб о полюсе мы не мечтали,
сжатые рукою ледяною...

Снова стать
неведомой страною,
сделать так,
чтоб мы ее боялись.

Слишком велика
людская ярость!
Слишком многих
мы недосчитались!
Слишком многие
лежать остались,
за победу
заплатив собою...
В эти разметнувшиеся шири
слишком много мы
труда вложили,
чтоб отдать все то,
что взято с бою!
Невозможно изменить законы,
к прошлому вернуться
хоть на месяц.

Ну, а то, что кружимся на месте,
так ведь это, может,
для разгона...

ПОДЪЕМ ФЛАГА

Флаг поднимался медленно и верно.
И знал,
что взгляды всех сейчас —
на нем!
Он наши лица
осветил мгновенно
земным огнем.
Трепещущим огнем.
Он сразу же
метели стал перечить.
Молчал.
(А нам казалось, что — звенит!)
Он, складки распрямляя,
будто плечи,
над нашей головой
всходил в зенит...
Стояли мы,
немея от восторга,
смотрели,
как он бьется на ветру.
И было ясно:
флаг сюда —
надолго!
Ему
такое место —
по нутру!..
И знали мы:
среди торосов грузных
у флага будет каждый на виду.
Он не потерпит

шкурников и трусов,
поможет,
если попадешь в беду.
Не сдаст,
не упадет
и не остынет,
бунтующий,
разлившийся в глазах.

...Ну, вот и все.
Конец тебе,
пустыня!
Конец тебе,
безмолвье!
Грянул залп.

«ВОСЕМЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ»

Сочетание «88-С» по коду
радистов означает «целую».

Понимаешь,
трудно говорить мне с тобой:
в целом городе у вас —
ни снежинки.
В белых фартучках
школьницы идут
гурьбой,
и цветы продаются на Дзержинке.
Там у вас — деревья в листве...
А у нас,—
за версту,
наверное,
слышно,—
будто кожа новая,
поскрипывает наст,
а в субботу будет кросс
лыжный...

Письма очень долго идут.
Не сердись.
Почту обвинять
не годится...
Рассказали мне:
жил один влюбленный радист
до войны на острове Диксон.
Рассказали мне:
был он

не слишком смел
и любви привык
сторониться.
А когда пришла она,
никак не умел
с девушкой-радисткой
объясниться...
Но однажды
в вихре приказов и смет,
график передачи ломая,
выбил он
«ЦЕЛУЮ!»
И принял в ответ:
«Что передаешь?
Не понимаю...»

Предпоследним словом
себя обозвав,
парень объясненья не бросил.
Поцелуй
восьмерками зашифровав,
он отстукал:
«ВОСЕМЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ!»
Разговор дальнейший
был полон огня:
«Милая,
пойми человека!
(Восемьдесят восемь!)
Как слышно меня?
(Восемьдесят восемь!)
Проверка».

Он выстукивал восьмерки
упорно и зло.
Днем и ночью.
В зиму и в осень.
Он выстукивал,
пока
в ответ не пришло:
«Понимаю,
восемьдесят восемь!..»
Я не знаю,
может,
все было не так.

Может —
более обыденно,
пресно...
Только верю твердо:
жил такой чудак!
Мне в другое верить
неинтересно...

Вот и я
молчание
не в силах терпеть!
И в холодную небесную просинь
сердцем
выстукиваю
тебе:
«Милая!
Восемьдесят восемь!..»
Слышишь?
Эту цифру я молнией шлю.
Мчать ей
через горы и реки...
Восемьдесят восемь!
Очень люблю.
Восемьдесят восемь!
Навеки.

ХРЕБЕТ ИМЕНИ ЛОМОНОСОВА [1]

Мне сегодня показалось,
словно
тишина,
тугая и густая,
страшным грохотом
была разломана
и из океана
горы
встали!
Встал хребет почти до небосвода,
огляделся,
тяжело вздыхая,
и заговорил,
морскую воду
с каменного тела
отряхая:
сколько помню я себя —
ни разу
на вершинах,
темных и тенистых,
не бывали
ваши альпинисты,
не ступали
ваши водолазы.

Над моими склонами
неслышно

[1] Хребет имени Ломоносова — горный хребет, проходящий по дну Ледовитого океана.

ходят рыбы
легкими стадами.
Водоросли медленно колышут
синими
густыми бородами.
Бродят неуверенно и немо
зыбкие,
кисельные медузы.

Надо мною
вместо глыбы
неба
океан лежит
великим грузом.
Эту тяжесть подперев руками,
я стою,
крутую выгнув спину.
Снизу мне
дрейфующие льдины
кажутся
большими облаками.

Не хочу,
чтоб жизнь без цели гасла!
Жду,
наверно, миллионный день я,
чтобы вам
отдать свои богатства;
чтобы вы
пришли в мои владенья...
Я —
ровесник вашего Урала!
Я уже ущельями
разорван...
Приходите!
Подарю вам зерна
драгоценного,
как жизнь,
урана...
Приходите!
Говорю, как старший.
Вас
зову
не за подачкой тощей...

Я раскрою
угольные толщи
(вам
такое
и не снилось даже!).
Вашим домом стану и оплотом,
подарю вам
золотые жилы...
Хватит
спину мне царапать лотом!
Присылайте помудрей
машины!
Я
своею каменною грудью
вас от всех опасностей
прикрою,
напою вас
собственною кровью...
Присылайте умные орудья.

Жаль, что нет пока
таких орудий.
Их еще выдумывают
люди.

ГОРЯЧИЙ СЕВЕР

А слышала ли ты, что он —
горячий?..
Вмиг освистав торосистые пики,
метели покуражатся
и спрячут
все вехи,
все привычные тропинки.
По насту —
он невозмутимо гладок,
по снегу —
он тяжел и слишком тих —
гидрологи
выходят из палаток,
и ночь
неслышно принимает их.
Гидрологи выходят напевая.
И никого на помощь не зовут,
горячими руками согревая
лебедочную
злую синеву...
Когда бураны начисто ломают
людской покой
и грузы тяжелы —
ребята раздеваются
до маек,
спасаясь от невиданной жары!..
Чернеет в лунке круглая вода.
Свет фонаря задумчив и рассеян...
Обычная работа.
Как всегда.
Медлительная ночь...
Горячий Север!

АВРАЛ

Мы ящиков не выбираем полегче.
Натружены руки.
Оттянуты плечи.
Не гнутся,
но кажутся ватными
пальцы.

Упасть бы сейчас
и в снегу отоспаться!
На десять минут бы!
На десять...

Но снова,
палаточный город
собой сотрясая,
врывается слово,
взрывается слово:
«АВРАЛ!»

...Очень медленно
движутся
сани.
Как будто стальные.
Как будто из камня.
Скрипя,
подаваясь почти незаметно,—
то плавно,
а то вдруг толчками,
рывками,—
еще на полметра.
Еще на полметра...
А снег под ногами
предательски порист.

И лезем мы,
на руки яростно дуя,
шатаясь,
проваливаясь по пояс,
по ровному полю,
как в гору крутую.
Холодное солнце
идет небесами...
Глаза застилает.
Дышать уже нечем.
Оттянуты руки.
Натружены плечи.
Но движутся сани.
Но движутся сани!

...Мне долго еще будет сниться такое:
нежданной
приходит Большая Работа.
Полундра! —
и мы поднимаемся с коек.
Аврал! —
и рубахи дымятся
от пота.

АРКТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ

К. А. Сычеву

Не трудись над хитрой вакциною,
в книги-справочники не лезь...
Существует здесь
медициною
не изученная болезнь...
Если парень,
сидя в палатке,
грустновато,
не сгоряча
говорит:
«Заболел я...
Арктикой...» —
то к нему не зовут врача.

Заболел я Арктикой —
это
значит Арктика
сердце взяла
и неласковым голосом ветра
человека
к себе позвала!
Значит, где б ты теперь
ни странствовал,
на пороге
любой весны
будешь бредить полярными трассами,
будешь видеть снежные сны...

Ну, а что в ней,
скажите,
особого —
в этой путанице ледяной?
Реки теплые,
горы высокие
обошли ее стороной.
Обошли,
обделили,
обидели...
Только это все —
не беда!
Если б вы хоть однажды
увидели
угловатую царственность
льда,
если б вы хоть однажды
поняли
долгожданного солнца
приход,
если б легкие вы наполнили
звонким воздухом
этих широт,
если б вы изведали
счастье
и величие дружбы земной,—
вы, конечно, тогда —
ручаюсь я! —
повторили бы вместе со мной,
повторили —
одни
украдкой,
а другие —
в голос крича:

— Заболел...
Заболел я
Арктикой!
Не зовите ко мне врача.

ПРО МЕДВЕДЯ

Шерсть поднята на холке —
впору бы зареветь,
но, глядя на лагерь,
тихонько
ворчит полярный медведь:

— С какой это все ж таки
стати
люди сюда пришли?
Домики понаставили...
что им,
мало земли?
Мои здесь
тюлени и нерпы!
Льдины —
мои,
и торосы...
Что у людей за нервы?
Разве им так уж просто
жить,
о земле тоскуя,
холод этот
терпеть,
льдину буравить такую
и песни при этом
петь?

...А вон
у самого края,
запахами маня,

туша висит баранья.
По-видимому —
для меня.
Хорошее дело!
Ладно,
взять я тушу
могу...
Зачем же тогда у склада
собака лежит на снегу?
Легко бы я справился с нею,
но прежде
сказать желаю:
вот я —
гораздо сильнее,
а ведь не кричу,
не лаю...
Мне,
большому,
противно
прятаться и скитаться.
Пора с людьми рассчитаться
за шум такой
и за льдину!
За то, что на ней,
огромной,
не холодно им,
а жарко!
За всех моих братьев
кровных,
которые —
в зоопарках!
Сейчас подползу,
пугну их,
лапой задену даже...

А впрочем, к дьяволу!
Ну их...
Лучше от них
подальше.

МИРАЖ

Дежурный закричал:
— Скорей сюда!
Мираж!
смотрите!
Все сюда!
Скорей!..—
И резко отодвинута еда.
И мы вываливаемся из дверей.

Я ждал всего.
Я был готов к любому:
к цветам и пальмам
в несколько рядов,
к журчащему прибою голубому,
к воздушным башням
древних городов.
Ведь я читал,
как над песком
бесстыдно
вставали
эти памятники лжи.
Ведь я читал,
как жителей пустыни
с дороги уводили
миражи...
Ведь я читал,
ведь я об этом знаю:
слепящим днем,
как в полной темноте,
шагали

люди,
солнце проклиная,
брели
к несуществующей воде.

Но здесь...
— Да где мираж?!
— А очень просто.
Туда смотри!..

Я замер,
поражен:
на горизонте
плавали
торосы
вторым,
не очень ясным этажом.
Они переливались
и дрожали...
Я был готов к любому.
Ждал всего...
Но Арктика!
Ты даже
миражами
обманывать
не хочешь никого.

НЕЛЕТНАЯ ПОГОДА

Нет погоды над Диксоном.
Есть метель.
Ветер есть.
И снег.
А погоды нет.
Нет погоды над Диксоном третий день.
Третий день подряд
мы встречаем рассвет
не в полете,
который нам по душе,
не у солнца,
слепящего яростно,
а в гостинице.
На втором этаже.
Надоевшей.
Осточертевшей уже.
Там, где койки стоят в два яруса.
Там, где тихий бортштурман Леша
снисходительно,
полулежа,
на гитаре играет,
глядя в окно,
вальс задумчивый
«Домино».
Там, где бродят летчики по этажу,
там, где я тебе это письмо пишу,
там, где без рассуждений
почти с утра,—
за три дня,
наверно, в десятый раз,—

начинается «северная» игра —
преферанс.
Там, где дни друг на друга похожи,
там, где нам
ни о чем не спорится...
Ждем погоды мы.
Ждем в прихожей
Северного полюса.
Третий день
погоды над Диксоном нет.
Третий день.

А кажется:
двадцать лет!
Будто нам эта жизнь двадцать лет под стать,
двадцать лет, как забыли мы слово:
летать!
И обидно.
И некого вроде винить.
Телефон в коридоре опять звонит.
Вновь синоптики,
самым святым клянясь,
обещают на завтра
вылет
для нас.

И опять, как в насмешку,
приходит с утра
завтра,
слишком похожее
на вчера.
Улететь —
дело очень нелегкое,
потому что погода —
нелетная.

...Самолеты охране поручены.
Самолеты к земле прикручены,
будто очень опасные
звери они,
будто вышли уже
из доверья они.
Будто могут
плюнуть они на людей —

на пилотов,
механиков
и радистов.
И туда, где солнце.
Сквозь тучи.

Над Диксоном
третий день погоды нет.
Третий день.
Рисковать приказами запрещено.

Тихий штурман Леша
глядит в окно.
Тихий штурман
наигрывает «Домино».
Улететь нельзя все равно
ни намеренно,
ни случайно,
ни начальникам,
ни отчаянным —
никому.

К ВОПРОСУ О ПОЛЯРНЫХ «ВОЛКАХ»

Он в комнату ввалился
с тяжелым рюкзаком.
Дышал он в наши лица
медовым табаком.
Он улыбался пьяненько:
«Живем, брат, ничего!..»
Висел значок полярника
на кителе его.

Рассказывал про то,
как,
дороги не пробив,
застрял корабль в протоках
разлившейся Оби,
как он случайно спасся
у Каменных Дверей
и кончились запасы
подмокших сухарей.
Как он осилил ветер,
как он жилье нашел
и как убил
медведя
охотничьим ножом.

Об этом мы, наверно,
не знали ни черта...
Но были мы уверены,
что нам он —
не чета.
Посасывая трубку,

чтоб убедить верней,
показывал он
руку
и сизый шрам
на ней.
Учил,
как надо табаком
делиться
без обид,
как надо пить
одним глотком
неразведенный спирт.
Слова звучали веско,—
солидные слова:
— Мне Арктика известна
до тонкостей,
братва...
И вот теперь внезапно,—
хоть я и сам не рад,—
я должен ехать завтра
по делу
в Ленинград.

Но тут Сережа Братников
прервал его:
— Шалишь!
Да ты ж
неделю в Арктике.
О чем ты говоришь?!
Чего за рюмку
прячешься?
Иль не узнал меня?
Ведь ты в конторе
плачешься
уже четыре дня...
Бежишь отсюда?
Ладно,
катись —
переживем!
Таких, как ты,
обратно —
умри,—
не позовем!
Беги, другим рассказывай,

другим втирай очки.
Валяй, в Крыму
показывай
полярные
значки!
Не надо делать драмы,
с нами — не дури...
Ответь мне лучше прямо:
струсил?
Говори!..

И тот пошел,
поехал:
мол, начал вдруг болеть...
Мол, надо ж человека
когда-нибудь
жалеть...
Приехал необдуманно...
Почти что без вещей...
А тут
метели дунули...
И нелегко...
Вообще...
Мол, хоть и не партийный,
но знаю что к чему...
И ежели противно
здоровью
моему...
Культурный, мол, не просто...
В отличье от других...

Ему сказали:
— Брось ты!
Видали мы
таких!

...И тем же самым вечером
морозною порой
из-за стола развенчанным
поднялся наш
«герой».
Он трубкой не попыхивал
и не смотрел на нас,—
батон в рюкзак

запихивал,
наверно, в пятый раз.

Сказал перед уходом,
к нам обернувшись вдруг:
— Сдыхайте,
коль охота.
А я махну
на юг!
Наплачетесь —
попомните...

Дверь щелкнула замком...
И долго
пахло в комнате
прогорклым табаком.

УШЕЛ САМОЛЕТ

Вам каждый второй расскажет
невыдуманную историю
(об этом
не пишут в газетах,
песен об этом
не слышно),
но я видел сам однажды:
ушел самолет на Викторию.
Ушел самолет, покачиваясь.
Ушел самолет,
и крышка.

Одиннадцать дней радисты
усталых глаз не смыкали.
Обшаривали пилоты
каждый клочок земли.
Людей,
потерпевших бедствие,
одиннадцать дней искали.
А на двенадцатый
утром
радировали:
«Нашли!»
Нашли?
Но тогда скажите,
зачем же, кусая губы,
начальник аэропорта
не смотрит в глаза другим?
Кому эти черные ленты?
Зачем же оркестр из клуба

в притихшем
маленьком зале
негромко играет гимн?..
Упругий морозный воздух
морзянка сечет на части,
земля беспокойно вздрагивает,
известием растревожена.

И сообщают об этом
женам одним
да начальству.
Женам —
так, как приказано.
Начальству —
так, как положено.

А в доме возле Арбата
матери верили снам.
Им снилась немая пустыня
без края и без конца.
Белесый сынишка штурмана
проплакал в тот день допоздна
под огромной картой Арктики
в кабинете отца...
По-прежнему шли самолеты
трассой предельно трудной.
По-прежнему
долгим вьюгам
никто не хотел сдаваться.

И над молчаливыми льдами,
над бесконечной тундрой
висели на ниточках звезды,
готовые
оборваться.

ВЬЮГА

Ой, как холодно!
Ох, как ветрено!
Замерзают во рту
слова,—
очень медленно,
неуверенно,
входит лето
в свои права
...Впрочем, что я —
«в права»?
Да где ж они?!
Я тревожусь.
Я — не пойму...
Кем захвачено?
Кем задержано?
Служит в этот момент
кому?
Кто там взялся
руками умелыми?
Кто за морем сошел с ума?
Что грозит нам
крайними мерами
с иностранною маркой
зима?..

Что же!
Ахай,
пугай, метелица!

Добивайся своей зимы —
нам от этого
хуже не сделается:
не такое
видали мы.
Ты, конечно, думаешь:
ладно, мол,
я еще себя
покажу.
Я рукою своей прохладною
ваши помыслы
остужу.
Убеждения ваши шаткие,
вашу гордость,
вашу мечту
закидаю
снежными шапками,
разобью,
разорву на лету!

Брось!
Видали мы:
шла, осваиваясь,
тьма на тысячи верст,
и в ней
подлиннее зимы наваливались,
позабористей,
похолодней.
Пострашнее вьюги насвистывали,
побольнее ветер хлестал.

Мы,
как видишь, старуха,
выстояли.
Зря ты это все.
Перестань...
Ты над нами металась,
охая,
забиралась в сердца и в мозг.
Ты крепчала!
Но мы
отгрохали
и Магнитку,
и Комсомольск.

Ты глядела глазами наметанными,
заметала
наши пути...
Шли живые,
падали мертвые,
завещая живым —
идти!
Шли живые,
шатаясь от голода.
Шли
счастливую жизнь искать.

Неужели ж
пришло тебе в голову,
будто можно нас испугать?!
Бей,
крути мельтешащей пеною!
Добивайся,
жди своего.

Ничего ты не сможешь,
белая.
Не изменишь ты ничего.

ЛЕТЧИКИ

Экипажу полярного летчика
А. Старова

Грохали двери.
Люди вносили
в низкую комнату
пар светло-синий.
Только входили,
только вступали,
как заколдованные засыпали...
Спали пилоты.
Механики спали.
Спали
как будто впервые с рожденья,
спали
с невиданным наслажденьем.
Там, где попало.
Там, где упали.
За все предстоящие недосыпы
спали на совесть.
Взахлеб.
Но не вдоволь...
Утром
они говорили:
«Спасибо!» —
и снова были к полету готовы.
Снова ревели моторы призывно,
мерно подрагивая от напряженья.
Штурман в кабине
привычным движеньем
вешал над столиком карточку сына...

Взвизгивали,
бесновались метели.
Черные тучи смертью грозили...
Люди острили.
Люди
летели.
Делали дело.
Наград не просили.
В жизни такой
они толк понимали:
только по крупной
играя со смертью,
шли на посадку —
где бы сломали
ногу
даже бывалые
черти!
Небо встречало их снегом и ливнем.
Небо пугало...
Но в мире просторном
больше,
чем всяким приметам счастливым,
верили эти люди
моторам.

...Мне бы
размах этих крыльев!
Мне бы
эту огромность бездонного неба!
Это святое презренье к покою.
Силу б такую.
Сердце такое.
Может, немногое
в жизни смогу я.
Только с собою
беру вместо клятвы
то, что сейчас повторяю,
смакуя:
— Люди крылаты.
Люди крылаты...
Бейся ж,
веселая песня,
в моторе

в дни снеговые,
в ночи сырые!..

Люди крылаты!
Крылаты!!
И горе
тому,
кто рискнет им подрезать
крылья.

СЕВЕРНОЕ

Ты уйди!
Ты не стой на холоде.
По домам пора.
По домам.

...Как накурено
в этом городе!
Навалился,
наполз туман.
Удивляются люди:
— Откуда он
появился
этакой массою?! —
Все густой пеленой окутано,
хоть руби,
хоть на хлеб намазывай!
Стали громкие фразы
невнятными.
Тротуары сделались
тесными.
Стали улицы
непонятными,
бесконечными,
неизвестными.
На себя не похожа
площадь —
притаиться она решила.
Вот машина идет на ощупь,
еле двигается
машина.

Спотыкаясь,
не там сворачивая,
останавливаясь порою,
ходят люди,
будто незрячие,
руки выставив перед собою.
Озираются непонимающе,
повторяют:
— Ну и туманище!..

Объясняя это явление,
эрудицией
жителей радуя,
обещает на завтра
радио
незначительное потепление.
Забирается стужа в валенки,
и слова застревают в горле.

Как накурено
в этом городе,
очень старом
и очень маленьком

***

Не ревнуй меня к дороге,
к неудачам и удачам...
Принимаю все упреки,
но иначе?
Как
иначе?
Не ревнуй меня к вагонам,
не ревнуй меня к проселкам,
к верхним полкам,
тряским полкам
и пейзажам заоконным.

Говоришь ты мне сердито:
«Я не выдержу —
обижусь.
Ну подумай,
рассуди ты —
я ж тебя почти не вижу!
Неужели ты не кончишь
постоянные тревоги?
Неужели ты не хочешь
дома быть,
а не в дороге?»
Милая...
Давай проверим,—
накрепко закроем двери.
Будем мы вдвоем с тобою.
Просто двое.
Только двое.
Чтобы ты
на дальний ветер
не была в такой обиде.

Чтобы никого на свете
и не слышать
и не видеть.
Бабушку твою научим,
чтоб она
на каждый случай
говорила всем знакомым:
«Нету дома!»,
«Нету дома...»

...Если будет так,
как скажем,
то
(почти уверен я)
удивятся очень даже
родственники
и друзья.
Будут волноваться,
часто
телефоны беспокоя,
будут в нашу дверь стучаться:
— Что стряслося?
— Что такое? —
А потом они
отстанут.
Навещать нас
перестанут.
Позвонят,
так без охоты.
И забудут
этот дом.

Просидим мы так полгода.
Год, допустим.
А потом...

Ты ж сама
(поверь на слово!)
подойдешь ко мне сурово
и совсем без тени смеха
скажешь
нервно и жестоко:
«Ты б уехал ненадолго!
Ты б куда-нибудь
уехал...»

РОВЕСНИКАМ

Артуру Макарову

Знаешь, друг,
мы, наверно, с рожденья
                такие...
Сто разлук
нам пророчили
                скорую гибель.
Сто смертей
усмехались беззубыми ртами.
Наши мамы
вестей
месяцами от нас ожидали.

Мы
росли —
поколение
                рвущихся плавать.
Мы пришли
в этот мир,
                чтоб смеяться и плакать,
видеть смерть
и, в открытое море бросаясь,
песни петь,
целовать неприступных красавиц!
Мы пришли
быть,
где необходимо и трудно...
От земли
города поднимаются круто.

Век
суров.
Почерневшие реки
дымятся.
Свет костров
лег на жесткие щеки
румянцем...
Как всегда,
полночь смотрит
немыми глазами.
Поезда
отправляются по расписанью.
Мы ложимся спать.
Кров родительский
сдержанно хвалим.
Но
опять
уезжаем,
летим,
отплываем!
Двадцать раз за окном
зори
алое знамя подымут.

Знаю я:
мы однажды уйдем
к тем,
которые сраму
не имут.
Ничего
не сказав.
Не успев попрощаться.

Что
с того?
Все равно это —
слышишь ты? —
счастье:
сеять хлеб
на равнинах,
ветрами продутых...
Жить взахлеб!
Это здорово кто-то придумал!

***

Некрикливо и незаметно
великанами
стали ребята.

Путь в три тысячи километров —
все равно что для нас
от Арбата
до Никитских ворот
добраться.
Впрочем, что я,—
гораздо ближе!..

Лед,
который на солнце плавится,
длиннохвостые ветры лижут...
Бросив вызов этой пустыне,
по одной
по своей охоте
великаны
живут на льдине,
фантазеры
по льдине ходят.

Расстояний
не замечая,
москвичей покоя лишая,
на полярную ночь
приглашают,
как на чашку чая!

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Четырнадцать часов полета,
и —
Москва...
Молчи.
Не говори ненужные слова.

Аэродром.
Синеющий лесок.
Через него —
шоссе наискосок.
Недвижна голубая крутизна...
Стоим —
оглушены,
удивлены.
Деревьями и воздухом
пьяны.
«Вот мы и возвратились, старина!»

...И можно,
никого не удивив,
шоферу крикнуть:
«Эй!
Останови!»
Быть наяву,
не выходя
из сна,—
упасть в траву,
услышать, как растет она.
Глядеть вокруг.
По лугу медленно пройтись...

Ослепнуть вдруг
от грянувшего пенья птиц.
Нарвать ромашек.
Вымокнуть в росе.
И вновь смотреть,
как косо
падает
шоссе.
Смеяться,
петь до хрипоты,
кричать!

...Как мог я раньше этого
не замечать?!
Как мог я думать,
будто понял
жизнь?..
То вверх,
то вниз летит шоссе,—
держись!
А мы молчим...
Шоссе — то вниз,
то вверх.
Звенит оно,
летит оно
к Москве!
К Москве.
К тебе...

Закрыть счастливые глаза.
И вдруг понять,
что через полчаса —
то,
чем ты жив:
твой город.
Твой порог.
Твоя судьба —
начало
будущих дорог.

Из сборника НЕОБИТАЕМЫЕ ОСТРОВА 1959—1962

ЧАСЫ

— Идут часы...
— Подумаешь,
открытье!
Исправны, значит.
Приобрел —
носи.

— Я не о том!
На улицу смотрите:
по утренней земле
идут часы!
Неслышные, торопятся минуты,
идут часы,
стучат ко мне в окно.
Идут часы,
и с ними разминуться,
не встретить их
живущим не дано...
Часы недлинной жизни человека,
увидите,—
я вас перехитрю!
Я в дом вбегу.
Я дверь закрою крепко.
Теперь стучите,—
я не отворю!..

Зароешься,
закроешься,
не впустишь,
свои часы дареные испортишь,

забудешь время
и друзей забудешь,
и замолчишь,
и ни о чем не вспомнишь.
Гордясь уютной тишиной квартиры
и собственною хитростью
лучась,
скорее
двери забаррикадируй!..

Но час
придет!
Неотвратимый час.
Наступит он в любое время года
на мысли,
на ленивые мечты.
Наступит час
на сердце и на горло...
И, в страхе за себя,
очнешься ты!..
И разобьет окошко
мокрый ветер.
И хлынут листья
в капельках росы.

Услышишь:
бьют часы!
И вслед за этим
почувствуешь:
наотмашь
бьют
часы!

ЛЮДЯМ, ЧЬИХ ФАМИЛИЙ Я НЕ ЗНАЮ

По утрам
на планете мирной
голубая трава в росе...
Я не знаю ваших фамилий,—
знаю то,
что известно всем:
бесконечно дышит вселенная,
мчат ракеты,
как сгустки солнца.
Это —
ваши мечты и прозрения.
Ваши знания.
Ваши бессонницы.
Знаю только,
что где-то
ретиво,
в предвкушенье военного грома,
зря
от тяжести реактивной
прогибаются аэродромы!
Не рискнут они.
Не решатся.
Вашей силы
они страшатся.
Называют вас просто:
«атомщики»,
именуют скромно
«ракетчиками».
Дорогие наши товарищи,
лишь известностью

не обеспеченные.
Вам даются награды
негласно.
Рядом с нами вы.
И не с нами.
Мы
фамилий ваших не знаем,
только вы и на это
согласны.
От чужого укрыты взгляда,
от любого укрыты взгляда,—
ничего не поделаешь —
надо,
ничего не попишешь —
надо.
О, суровая правда века!..
Люди в чьих-то штабах
упрямы.
Составляет чья-то разведка
далеко идущие планы
и купюры
крупные
стелет...
Только что вам
до этих денег!
Вы бы даром
светло и доверчиво,—
если б дело пошло на это,—
положили б
к ногам Человечества
все до капельки сверхсекреты.
Сколько б вы напридумали разного!
Очень нужного
и удивительного!
Вы-то знаете, что для разума
никаких границ не предвидено.
Как бы людям легко дышалось!
Как бы людям светло любилось!
И какие бы мысли
бились
в полушарьях
земного шара!..
Но пока что над миром веет
чуть смягчающееся

недоверье.
Но пока дипломаты высокие
сочиняют послания
мягкие,—
до поры до времени
все-таки
остаетесь вы
безымянными.
Безымянными.
Нелюдимыми.
Гениальными невидимками.

Каждый школьник в грядущем мире
вашей жизнью
хвастаться будет...
Низкий-низкий поклон вам,
люди.
Вам,
великие.
Без фамилий.

***

Пишите о главном,
пишите
о главном!
О главном!
На мелочь ни часа не тратьте...
Пусть кровь
запульсирует в слове багряном
и очень горячими
станут тетради.
Пишите о главном!
Решитесь.
Посмейте.
Прислушайтесь
к сердцу
и с трусостью
сладьте.
Пишите о гордом!
О жизни и смерти.
О зле.
О любви.
О победе и славе.

Не нам
немудреное дело постигнуть —
быть гордостью баров,
богами гостиных,
где модному вздоху
спешат удивиться
жеманно повизгивающие девицы...

Не нам
пустячками обманывать время!
Не нам
красоваться в дареных ливреях!
Подачками барскими
хвастать умильно...

Пишите о главном,
хозяева мира!

ВЕСЕННЯЯ ВАЛЯ

Валентине Петрищевой — прядильщице фабрики имени М. Фрунзе

С ней бы плыть на лодке.
Долго.
Медленно.
Взять ее за локоть.
Нежно.
Намеренно.
Побродить просто.

А я вот ей муторно
задаю вопросы
с видом
мудрым.
«Сколько сэкономлено?..
Когда установлено?..»
Цифры,
цифры
прыгают, как в цирке.
Ничего не сделаешь —
служба такая...
А за окном
с дерева
катятся
капли.
Капель не стихает,
свое вызванивая...

Сидит,
вздыхает

весенняя Валя.
Весна не считается
с любимой профессией.
Весной
ожидается
весенняя сессия.
А еще письма —
навалом,
градом —
из Омска,
из Бийска,
из Ленинграда.
Красноярск,
Варна,
Карловы Вары...
И всё для Вали,
и всё для Вали.
То почерк разборчивый,
то мелкий бисер...
«Чем лучше работаешь,
тем больше
писем».
Странно?
Не странно.
И все же не легче...

А не согнет ли слава
Валины плечи?
Ведь от этой славы
сгибались
плечи
не такие слабые,—
куда покрепче!
Вдруг она станет
слишком знаменитой.
Гордой,
усталой
и незаменимой.
«Не лезьте с советом!
Оставьте в покое!»

Я не верю в это.
Я верю
в другое.

При любых везеньях
и в любых
званьях
останется Валя
веселой,
весенней.
Останется
Валей,
в которую поверили
в Ташкенте
и Варне,
Харькове и Веймаре.

Неба вам ясного,
ветра несеверного,
друга
настоящего,
как вы —
весеннего.

НЕОБИТАЕМЫЕ ОСТРОВА

Снятся усталым спортсменам рекорды.
Снятся суровым поэтам слова.
Снятся влюбленным
в огромном городе
необитаемые
острова.
Самые дальние,
самые тайные,
ветру открытые с трех сторон,
необнаруженные,
необитаемые,
принадлежащие тем,
кто влюблен.
Даже отличник
очень старательный
их не запомнит со школьной скамьи,—
ведь у влюбленных
своя география!
Ведь у влюбленных
карты
свои!
Пусть для неверящих
это в новинку,—
только любовь
предъявила
права.
Верьте:
не сказка,

верьте:
не выдумка —
необитаемые острова!..
Все здесь простое,
все самое первое —
ровная,
медленная река,
тонкие-тонкие,
белые-белые,
длинные-длинные
облака.
Ветры,
которым под небом не тесно,
птицы,
поющие нараспев,
море,
бессонное,
словно сердце,
горы,
уверенные в себе.
Здесь водопады
литые,
летящие,
мягкая,
трепетная трава...
Только для любящих
по-настоящему
эти
великие острова!..
Двое на острове.
Двое на острове.
Двое — и всё!..
А над ними —
гроза.
Двое — и небо тысячеверстное.
Двое — и вечность!
И звезды в глаза.
Это не просто.
Это не просто.
Это сложнее любого
в сто крат...
В городе стихшем
на перекрестках
желтым огнем светофоры горят.

Меркнет
оранжевый отблеск неона.
Гаснут рекламы,
гуденье прервав...

Тушатся окна,
тушатся окна
в необитаемых
островах.

ТОГДА

Тогда
мы жили в Омске.
Там
в сорок втором году
в весну
мы радовались не цветам,
а рассыпному толокну.
Я помню все:
и лебеду,
и очереди без числа...
На клумбах
в городском саду
картошка запросто росла.
Не смейте, люди, забывать
об этих днях,
о той весне.

Тогда б
я не сумел понять,
что это значит:
свет в окне.
Как это можно:
спать
взасос,
и говорить не о еде,
и слышать на скворо де
урчание
яичных солнц.
Ходить спокойно по земле
и в булочной очередной,

румяным пальцем тыча в хлеб,
брезгливо спрашивать:
«Дневной?»
И возмущаться,
а потом
почти что половину дня
крикливо выбирать батон,
плохую выпечку
кляня.
Устроить за день сто шумих,
ругая нервных продавцов.

Тогда
мы жили в Омске.
Жмых
для нас был слаще
леденцов.

В СОРОК ЧЕТВЕРТОМ

Везет
на фронт
мальчика
товарищ военный врач...
Мама моя,
мамочка,
не гладь меня,
не плачь!
На мне военная форма,—
не гладь меня при других!
На мне военная форма,
на мне
твои сапоги.
Не плачь!
Мне уже двенадцать,
я взрослый
почти...
Двоятся,
двоятся,
двоятся
рельсовые пути...
В кармане моем документы,—
печать войсковая строга.
В кармане моем документы,
по которым
я — сын полка.

Прославленного,
гвардейского,
проверенного в огне...
Я еду на фронт.
Я надеюсь,
что браунинг выдадут мне.
Что я в атаке
не струшу,
что время мое пришло.

Завидев меня,
старухи
охают тяжело:
«Сыночек...
Солдатик маленький...
Вот ведь
настали дни...»
Мама моя,
мамочка!
Скорей им все объясни!
Скажи,
чего это ради
они надо мной ревут?
Зачем
они меня гладят?
Зачем сыночком
зовут?
И что-то шепчут невнятно,
и темный суют калач.

Россия моя,
не надо!
Не гладь меня!
И не плачь!
Не гладь меня!
Я просто
будущий сын полка.
И никакого геройства
я не совершил
пока!
И даже тебе не ясно,
что у меня впереди...

Двоятся,
двоятся,
двоятся
рельсовые пути...
Поезд идет размеренно,
раскачиваясь нелепо,—
длинный
и очень медленный,
как очередь
за хлебом...

В ЗАЩИТУ ВОСПОМИНАНИЙ

Я начать хотел с привычного:
«А помнишь...»

Но меня прервал приятель:
— Опомнись!
Погоди!
Я протестую
решительно,—
что вы все воспоминаньями
ушиблены?!
Будто вы уже другого и не знаете,
будто сговорились:
вспоминаете!
То о сказках,
то о встрече с тарантулом,
то о речке за далекой горой,
то о том,
каким ребенком
талантливым
был с рождения
лирический герой.
О его раздумьях,—
в общем, неясных.
О его переживаниях в яслях.
Вспоминают
молодые да ранние.

Я приятелю ответил:
— Все правильно!
Все понятно.
Зрелость так и начинается —

в самом близком,
в самом простом.
То, что нам
легко вспоминается,
мы забыть успеем потом.
Принимая пустяки
за значительное,
мы в недавнем
разобраться хотим.
Наша память —
как стекло увеличительное,
сквозь нее
в самих себя мы глядим...
И читаем книги
спорные,
длинные,—
постигаем знаменитые умы.
И проходим
под распластанными ливнями,
деловитые,
острящие,—
мы!
Мы шагаем в институты знакомо,
то грустим,
а то впадаем в восторг.
И вручают нам путевки
в райкомах,
и везут нас поезда
на восток.
Собираемся на Марс,
бредим звездами,
не завидуем
попавшим на филфак...
А мемуары писать
пока не рвемся мы.
Это правда.
Это точно.
Это — факт!..
И одно наверняка уже знаю я:
вслед за мелким,
за пустым,
за неясным
настоящие
придут воспоминания!

Настоящие
о самом настоящем!..
А пока мы песни шпарим на морозе
и на судьбу не собираемся пенять.

Чем моложе человек,
чем моложе,
тем он больше
любит вспоминать!

ИГРА В «ЗАМРИ!»

Ю. Овсянникову

Игра в «Замри!» —
веселая игра...
Ребята с запыленного двора,
вы помните,—
с утра и до зари
звенело во дворе:
«Замри!..»
«Замри!..»
Порой из дома выйдешь, на беду,—
«Замри!» —
и застываешь на бегу
в нелепой позе
посреди двора...
Игра в «Замри!» —
далекая игра,
зачем ты снова стала мне нужна?
Вдали от детства
посреди земли
попробовала женщина одна
сказать мне позабытое:
«Замри!»
Она сказала:
будь неумолим.
Замри!
И ничего не говори.
Замри! —
она сказала.—
Будь
моим!

Моим — и все!
А для других —
замри!
Замри для обжигающей зари.
Замри для совести.
Для смелости замри.
Замри,
не горячась и не скорбя.
Замри!
Я буду миром
для тебя!..

На нас глядели звездные миры.
И ветер трогал жесткую траву...
А я не вспомнил
правила игры.
А я ушел.
Не замер.
Так живу.

РЕВНОСТЬ

Игру нашли смешную,
и не проходит
дня —
ревнуешь,
ревнуешь,
ревнуешь ты меня.
К едва знакомым девушкам,
к танцам под баян,
к аллеям опустевшим,
к морю,
к друзьям.
Ревнуешь к любому,
к серьезу,
к пустякам.
Ревнуешь к волейболу,
ревнуешь к стихам.

Я устаю от ревности,
я сам себе
смешон.
Я ревностью,
как крепостью,
снова окружен...
Глаза твои
колются.
В словах моих
злость...
«Когда все это кончится?!
Надоело!
Брось!»

Я начинаю фразу
в зыбкой тишине.
Но почему-то
страшно
не тебе,
а мне.
Смолкаю запутанно
и молча курю.
Тревожно, испуганно
на тебя смотрю.

А вдруг ты перестанешь
совсем ревновать!
Оставишь,
отстанешь,
скажешь:
наплевать!
Рухнут стены крепости,—
зови
не зови,—
станет меньше
ревности
и меньше
любви...

Этим всем замотан,—
у страха в плену,—
я говорю:
«Чего там...
Ладно уж...
Ревнуй...»

БОГИНИ

Давай покинем этот дом,
давай покинем,—
нелепый дом,
набитый скукою и чадом.
Давай уйдем к своим домашним богиням,
к своим уютным богиням,
к своим ворчащим...
Они, наверно, ждут нас?
Ждут.
Как ты думаешь?
Заварен чай,
крепкий чай.
Не чай — а деготь!
Горят цветные светляки на низких тумбочках,
от проносящихся машин
дрожат стекла...
Давай пойдем, дружище!
Из-за стола встанем.
Пойдем к богиням,
к нашим судьям бессонным.
Где нам обоим
приговор уже составлен.
По меньшей мере мы приговорены —
к ссоре...
Богини сидят,
в немую тьму глаза тараща.
И в то,
что живы мы с тобою,
верят слабо...
Они ревнивы так,
что это даже страшно.

Так подозрительны,
что это очень странно.
Они придумывают разные разности,
они нас любят горячо и неудобно.
Они всегда считают
самой высшей радостью
те дни, когда мы дома.
Просто дома...
Москва ночная спит
и дышит глубоко.
Москва ночная
до зари ни с кем не спорит...

Идут к богиням
два не очень трезвых
бога.
Желают боги одного:
быть собою.

***

Будь, пожалуйста,
послабее.
Будь,
пожалуйста.
И тогда подарю тебе я
чудо
запросто.
И тогда я вымахну —
вырасту,
стану особенным.
Из горящего дома вынесу
тебя,
сонную.
Я решусь на все неизвестное,
на все безрассудное,—
в море брошусь,
густое,
зловещее,—
и спасу тебя!..
Это будет
сердцем велено мне,
сердцем велено...
Но ведь ты же
сильнее меня,
сильней
и уверенней!
Ты сама готова спасти других
от уныния тяжкого.
Ты сама не боишься ни свиста пурги,
ни огня хрустящего.

Не заблудишься,
не утонешь,
зла не накопишь.
Не заплачешь
и не застонешь,
если захочешь.
Станешь плавной
и станешь ветреной,
если захочешь...
Мне с тобою —
такой уверенной —
трудно
очень.

Хоть нарочно,
хоть на мгновенье,—
я прошу,
робея,—
помоги мне в себя поверить,
стань
слабее.

ЛИВЕНЬ

Аленке

— Погоди!..—
А потом тишина и опять:
— Погоди!..

К потемневшей земле
неподатливый сумрак прижат.
Бьют по вздувшимся почкам
прямые, как правда,
дожди.
И промокшие птицы
на скрюченных ветках дрожат...
Ливень мечется?
Пусть.
Небо рушится в ярости?
Пусть!
Гром за черной горою
протяжно и грозно храпит...
Погоди!
Все обиды забудь.
Все обиды забудь...
Погоди!
Все обиды забыл я.
До новых
обид...
Хочешь,
высушу птиц?
Жарким ветром в лесах просвищу?
Хочешь,
синий цветок принесу из-за дальних морей?

Хочешь,
завтра тебе
озорную зарю посвящу.
Напишу на заре:
«Это ей
посвящается.
Ей...»

Сквозь кусты продираясь,
колышется ливень в ночи.
Хочешь,
тотчас исчезнет
свинцовая эта беда?..

Погоди!
Почему ты молчишь?
Почему ты молчишь?
Ты не веришь мне?
Верь!
Все равно ты поверишь,
когда
отгрохочут дожди.
Мир застынет,
собой изумлен.
Ты проснешься.
Ты тихо в оконное глянешь стекло
и увидишь сама:
над землей,
над огромной землей
сердце мое,
сердце мое
взошло.

ЖИЗНЬ

Г. П. Гроденскому

Живу, как хочу,—
светло и легко.
Живу, как лечу,—
высоко-высоко.
Пусть небу
смешно,
но отныне
ни дня
не будет оно
краснеть за меня...
Что может быть лучше —
собрать облака
и выкрутить тучу
над жаром
песка!
Свежо и громадно
поспорить с зарей.
Ворочать громами
над черной землей.
Раскидистым молниям
душу
открыть,
над миром,
над морем
раздольно
парить!
Я зла не имею.
Я сердцу не лгу.

Живу, как умею.
Живу, как могу.
Живу, как лечу.
Умру,
        как споткнусь.

Земле прокричу:
«Я ливнем
вернусь!»

ТЕМ, КТО НЕ ВИДЕЛ ЗЕМЛЮ ВБЛИЗИ

Сюда придешь
хворым,
сюда придешь
печальным,—
подышишь настоем хвойным
на берегу песчаном.
Рискнешь сразиться с ветром,—
вперегонки,
на равных!
Шагнешь к реке
светлой,
послушаешь птиц
ранних.
Следя за нервной леской,
обожжешься чаем,—
и сразу:
конец болезням!
Каюк
твоим печалям!..
Как в исполнение мечты,
шагни в пустую просеку,
взгляни на землю
с высоты
собственного роста.
Шагай,
хрустя яблоком,—
вперед и вперед!..

Да за каким дьяволом
ехать на курорт?!

За бархатным сезоном?!
Подумаешь —
сезон!
Куда сезонным зорям
до нашенских зорь!..
Конечно, там,
на море,
легко танцуют
искорки.
Конечно, там
на модницах
купальники —
изысканней.
И дамы усталые —
в решениях легки.

Но это мы оставим —
извините! —
другим.
А сами —
пешочком
по лугам,
по чащам,—
не в пример пижонам,
хилым,
ворчащим...

В озеро посмотримся,
возьмем березу за руку,
дождиком умоемся,
черникою позавтракаем.
Звериные,
грозные
следы перечитаем.
Грибы пересчитаем.
Поймем цветы неброские.
И дальше,
и дальше!
Тропинка,
вывози...

Вы видели,
товарищи,
землю вблизи?

Какая она огромная.
Распахнутая.
Разбросанная.
Какая она подробная.
Разная.
Росная.
Единственная.
Собственная.
Зеленая и синяя.
Для нас
нами созданная.
Нами одними
сильная!..

Скорее, друзья!
Сумейте,—
землю
шагами измерьте!
Песню с собою
возьмите
и землю
сердцем поймите.
Пусть она открывается
с каждым восходом и полднем.

Такое не забывается.
Не верите? —
Спорим!

В ГОСТИНИЦЕ

Мы простились, простились...
Вновь бессонная рань.
Снова
запах гостиниц,
снова плюшевый рай.
Вновь
в мерцающей раме —
честно службу неся —
давним символом рая
«Медведи»
висят...
Вновь дежурная сонно
ключ покрутит в руке.
От дивана узоры
у нее на щеке.

Все знакомо,
знакомо:
уходящая тьма
и пейзаж заоконный,—
в мягких бликах дома.
Пустота коридора,
комнат сумрачный вид
и сосед мой,
который
залихватски храпит.
С тишиной на мгновенье,
с раскатом чудным...

Завтра вечером,
верь мне,

мы подружимся с ним.
Он окажется
богом
по части дорог.
Пробка
глянцевым боком
шуганет в потолок!
И с улыбкою львиной —
«Пьем на «ты»...
Решено...» —
в крышку из-под графина
нальет он вино...
Будет хаять погоду,
будет хвастать женой.
И почти до восхода
проболтает со мной...
Станет звякать посуда,
о покое скорбя...

Трое суток
отсюда
до тебя,
до тебя...

НА ПЛЕСЕ

На плесе,
на плесе
немеешь от восторга.
Хотя мы
на плесе
лишь гости.
И только...
Я в танце, как в смерче,
витаю,
отчаясь...
Все меньше,
все меньше
за себя ручаясь!..
Язык полунамеков,
где все еще —
в наметках,
где всхлипы
оркестра
и легкое кокетство.
Шуршащие нейлоны
и парни
как лорды!
И ревность,
и мука,
и вихревая музыка.
Заманчивые плечи,
разбитые надежды...
Да что ж это?
Да где ж я?
На плесе.
На плесе.

На плесе —
спокойно...

А мамы,
а мамы
забыто и туманно
на плес глядят с балкона.
Испуганно и чутко
застыли в движенье:
«Ну, как моя дочурка?
Как там
Боженка?!
Парень с нею нежен,
ни на кого не смотрит.
Приятно,
конечно.
Но молод.
Молод!..
Угощает рьяно...
Да что уж там!
Ладно.
Но замуж ей рано!
Рано!
Ой, рано!..
Ее я,
наверно,
предупреждала мало».

Скажу вам откровенно,
товарищи мамы:
благие возраженья
отвергнуты отважно.
Теперь уже Боженка
не ваша,
не ваша!
Теперь уже не спросит,
не спросит,
не скажет.
А все будет проще:
однажды,
однажды
придут они
вместе,—
от страха чуть живы...

«Мы с Иржи
решили...
Решили...
Не смейся...»
Да где уж там смеяться
(и руки как плети).

А все было ясно
на плесе,
на плесе.
На плесе,
где жарко,
где музыка роскошна.

Где мы
только гости.
Вот что мне жалко.

***

Полны подвалы Эгера
богатством дорогим.
Полны подвалы Эгера
вином —
да каким!

В подвалах,
как в забое
прохладном и глубоком.
В подвалах,
как в соборе,
где бочки
вместо бога!
А в каждой из бочек
веселье клокочет.
А в каждой
столько свадеб,
что их, пожалуй,
хватит
на пять
тысячелетий!
На сотни
поколений!
Хватит,
достанется,
да еще останется!
А в этих
чанах
до самого верха —
венгерский чардаш

будущего
века!
А в этих
пенятся,
крепчая постепенно,
свиданья первые,
рожденья первенца!..

Конечно,
так и будет! —
я слышу не напрасно
размашистые бури
будущих праздников.
Теперь мы это поняли,
теперь уже
нам верится
и в надпись
(явно спорную) —
«ИН ВИНО —
ВЕРИТАС!»
В этом виноделы
понимают толк.

Но что же ты наделал,
медок,
медок?!
Стаканы
вновь полные.
Каблуки —
дробью!..

Что дальше —
не помню.
При всем моем
здоровье.

ЧАРДАШ

Ходит пол
ходуном,—
танцуют венгры.
На раздолье степном
разгулялись ветры...
А скрипач,—
ай, скрипач!
Ах, дьявол,—
к скрипке
прикипел-припал
плечом окаянным!
Он так придумал,
так захотел,
так приказал он...
Скрипки бешеная метель
бушует по залу!..

Проходит девушка одна,
хрустя
юбкой.
На всех посматривает она
легко и юно.
Чего, мол,
ты застыл, чудак,—
стоишь смирно.
Я просто так,
просто так
иду
мимо...

Я, может,
еще раз взгляну,
пожму плечами.

И вдруг —
повернувшись ко мне:
«А ну,
станцуем чардаш!»
И вот пошло!
И вот началось!
Закружилось!
И вот над нами
две тысячи гроз
ахнули,
ширясь!..
А сердце звенит:
пропал, пропал...
Рушатся стены...
А скрипач,—
ай, скрипач!
Ах, стерва!
Эгей,
черт тебя возьми!
Давай чаще!
Танцуем мы,
танцуем мы
чардаш!
Чардаш!..
Земля, кружись!
Мир, кружись!
Кружись и смейся!..
Раскручивается
наша жизнь
с планетою вместе!
Пускай другие
берут покой,
сон
и молчанье...

А мы выбираем
огонь!
Огонь!
Чардаш,
чардаш!..

Мелькают лица,
летят слова
по белому свету...

И если закружится голова
у старой планеты,
стыдиться этого
не должна
планета,
ручаюсь —
вместе с нами
в тот вечер
она
танцевала чардаш.

СЕРДЦЕ В РУКАХ

Я видел, как по Праге,
с прохожими
встречаясь,
нейлоновое платье
на плечиках качалось.
Качалось —
незатейливое,
цвета румянца.
Качалось
отдельно,
чтобы не помяться.
Несла его
девушка —
как счастье несла.
Девушка зардевшаяся
на танцы шла...

Но почему я вздрогнул
и холодок —
по коже,—
весенняя дорога
похожа!
Похожа!
С цветов,
зарей вымытых,
сбивая росу,
я на руках вытянутых
сердце несу...
Идти неудобно —
улицы
круты...

Несу я сердце
к дому,
в котором —
ты.
Какое это сердце —
тебе
разглядеть.
Какое это сердце —
тебе
владеть!..
Веришь или не веришь,—
возьми его,
прошу.

Я позвоню у двери
и сердце положу...
А ты опять рассердишься,—
есть из-за чего.
А ты не примешь
сердца,
сердца моего.
Я это знаю, знаю —
и все же иду...

Улица
сквозная
пророчит беду.
А людям удивительно:
человек идет
и на руках
вытянутых
сердце
несет.

***

На Севере был я однажды.
На Севере.
Где дули по-зимнему
ветры весенние.
Я видел парней —
старожилов полярных,
острящих,
отчаянных,
спорщиков ярых.
Шагающих на́зло
свистящему ветру.
Не верящих
на слово
шумному веку.
Но знающих
правду,
но верящих в дружбу,—
готовых для друга на все,
если нужно.
Я жил с ними рядом,—
смеясь и печалясь,—
с людьми,
за которых я жизнью
ручаюсь.
Которым отныне
безропотно верю...
Мечтал о Москве я,
грустил о тебе я.
Летел над землей —
зоревой и огромной.

Случилось,
что прямо с аэродрома
попал я тогда
на большое собрание,
по мненью друзей,—
интересное.
Крайне...

Я помню:
оно было бурным и долгим.
Я помню:
сшибались ораторы-доки!
С размаху
ломились
в цитатные чащи.
Их речи
дымились
сарказмом тончайшим.
Они
вопрошали.
Они
возражали.
Они
разрешали
и не
разрешали.
И кланялись томно,
и томно рыдали.
И трепет
восторга
витал
над рядами.
С ухмылкой знакомою
люди внимали
намекам,
подколам
и фигам в кармане.
Угрозам нестрашным
и фразам нарочным.

Я был ошарашен!
Я был огорошен!
Я крикнуть хотел,
задыхаясь от злости:

«Кому
это
надо?!
Послушайте,—
бросьте!
Чего вы пустыми словами
гордитесь?
Чего вы орете?!
Чего суетитесь?!»

Не крикнул.
Не стал.
Удалился в молчанье...
Полгода прошло.
И я сам замечаю,
что злость,
опалившая сердце,—
стихает.
Что душу мою
суета
настигает.

«Сегодня собрание.
Полезное. Крайне».
Иду
на собрание.
Сижу
на собрании.
Сижу как прикован
и тупо внимаю
намекам,
подколам
и фигам
в кармане.

СТЫДЛИВЫЕ

С вашей кожей —
как ни старается —
ни один загар
не может справиться.
Потому что кожа ваша
нежная,—
профессионально краснеющая...
Тихо от всего отстраняетесь
(совестно прослыть вдруг
настырными).
Вы ведь не боитесь,
вы
стесняетесь.
Вам ведь не страшно,
вам —
стыдно.
Стыдно
защитить слабого,
мнение иметь
совестно,
стыдно не хвалить
тщеславного,
неудобно с подлецом
ссориться.
Совестно сказать глупому,
что он глуп!
Что это —
надолго!
Стыдно в драку лезть
крупную,

а в мелкую —
совсем неудобно...
Бедные,
как вы только терпите?!
Сколько в вас
святой терпеливости!..
Из стыдливости
плохого вы не делаете.
И хорошего тоже —
из стыдливости.
Вы живете,
вы извиняетесь,
улыбаетесь печально и пустынно...
Нет,
вы не боитесь,
вы
стесняетесь.
Вам ведь не страшно,
вам —
стыдно.

Добрые,
других не укоряющие,
милые,
стеснительные вечно,
удобные,
со стыда сгорающие,
люди-людишки.
Человечки.

ВЗРОСЛЕЮТ ЛЮДИ

Мальчики
пьют не на свои.
На чужие пьют.
На папашины...
Глазки у мальчиков —
запавшие.
Губы —
цвета выжженной земли.
Ресторанный стол
от еды ломится.
Ресторанный пол
от беготни кренится.
Мальчики
шальным вином греются.
Основательно пьют.
Не торопятся.
На тарелочках
желтеет жирно семга.
Разгулялись мальчики
во всю ивановскую!
Говорят официанту:
— Ша, Сема!
Мы сегодня при деньгах,
неси шампанское! —
Говорят официанту:
— Брось жалеть!
Коньяку тащи!
Подсыпь на пятак!.. —
Мальчики
решили взрослеть.

А взрослеют
люди не так.
Не в вине, не в лихорадочной мгле,
не в чахоточном дыму папирос.
Люди взрослеют
на земле,
мокрой
от рокочущих гроз!
Взрослеют люди,
понимая простор.
Возвращаются
встречать свой рассвет,
повзрослев на полках
дальних поездов,
повзрослев на скалах
ближних планет.
Взрослеют люди
на распеве крутом.
Взрослеют,
сердце для других разбросав.
И не пьют?
Да нет — пьют!
Дело не в том.
Дело в бóльшем.
Дело в честных глазах.

Ладно, мальчики!
Гулять — так до зари.
Пусть над вами
люстры звякают хрупко.
Мальчики
пьют не на свои.
Задолжали сами себе.
Крупно!

ТВОРЧЕСТВО

Как оживает камень?
Он сначала
не хочет верить
в правоту резца...
Но постепенно
из сплошного чада
плывет лицо.
Верней —
подобие лица.
Оно ничье.
Оно еще безгласно.
Оно еще почти не наяву.
Оно еще
безропотно согласно
принадлежать любому существу.
Ребенку,
женщине,
герою,
старцу...
Так оживает камень.
Он —
в пути.
Лишь одного не хочет он:
остаться
таким, как был.
И дальше не идти...
Но вот уже
с мгновением великим
решимость Человека сплетена.
Но вот уже
грудным просящим криком

вся мастерская
до краев полна:
«Скорей!
Скорей, художник!
Что ж ты медлишь?
Ты не имеешь права
не спешить!
Ты дашь мне жизнь.
Ты должен.
Ты сумеешь.
Я жить хочу!
Я начинаю
жить.
Поверь в меня светло и одержимо.
Узнай!
Как почку майскую, раскрой.
Узнай меня!
Чтоб по гранитным жилам
пошла
толчками
каменная кровь.
Поверь в меня!..
Высокая,
живая,
по скошенной щеке
течет слеза...
Смотри!
Скорей смотри!
Я открываю
печальные
гранитные глаза.
Смотри:
я жду взаправдашнего ветра.
В меня уже вошла
твоя весна!..»
А человек,
который создал
это,
стоит и курит около окна.

АРКАДИЮ РАЙКИНУ

Ваш выход, артист.
Ваш выход.
Забудьте
усталость и робость...
Хотя не для вас ли вырыт
зал,
бездонный, как пропасть?
И вам по краю,
по краю,
по очень опасной грани,
по грани,
как по канату,
с улыбкой двигаться надо...
Ваш выход, артист.

Вы сами
не создавайте иллюзий,
что люди,
сидящие в зале,—
сплошь
достойные люди.
Конечно, достойных гораздо
больше,—
куда ни взгляни.
Все это так.
Но разве
ждут вас
только они?..
Вот эти,—
которые в третьем,—

они вас встретят истошно,
они вас овацией встретят!
Но вы же знаете точно:
они от безделья
лечатся,—
на прочее им наплевать,—
они пришли
поразвлечься,
животики надорвать...
А вот,
ожидая шуток,—
самодовольства полон,—
сидит
почтеннейший жулик,
который пока
не пойман.
Он будет во время вечера
брюзжать, что в зале
жара...
Так что ж вы здесь —
вроде веера?
Ваш выход, артист.
Пора...
Зал
покашлял внушительно
и трепетно замолчал...

Да здравствует
оглушительная
ненависть к сволочам!
Во весь разворот
без остатка,
высокое слово,
трудись!..

Пора...
Поднимайтесь в атаку.
Ваш выход,
товарищ артист!

ОКНА, КОТОРЫЕ НАРИСОВАНЫ

Владимиру Резвину

Вот на доме
потемневшая охра.
И от этого сразу же заметнее
неживые,
нарисованные окна —
с настоящими рядом.
Для симметрии...
Как старался художник!
Как старался!
И, наверное,
себе казался смелым.
Как он в тайнах искусства
разбирался!
Даже стекол блеск
передать сумел он...
Нарисованные окна?
Пустое!..
Только я хочу туда
постучаться!
Кто живет
в нарисованном доме?
Создает
нарисованное счастье?..
Расскажите,
почему,
зачем я верю
в то,
что, выпятив бумажные груди,

важно входят
в нарисованные двери
нарисованные, плоские люди.
Головами
нарисованно качают,
на судьбу свою
не слишком в обиде.
На приветствия живых
отвечают.

Вы не видели таких?
Я видел!

ПАРИЖ, ФРАНСУАЗЕ САГАН

Пишу вам по праву ровесника,
уважаемая Франсуаза...

Возможно,
вздохнув невесело,
письмо вы поймете не сразу.
То,
над чем вы горюете,
вы знаете лучше всего...
Ходят по улицам
люди
возраста моего.
В Лондоне и в Париже
замашки у них одни.
Свое поколение
лишним
всерьез
называют они.
Они вас считают
знаменем
неверия и порока.
Они вас считают
снадобьем
и даже чуть-чуть
пророком.
Пророки обычно безжалостны,
но я не под богом
рос...
Ответьте, пророк, пожалуйста,
на очень нестранный
вопрос:

кому вы
все ж таки
лишние,
парни,
нарочно небрежные?
Девчонки,
модно подстриженные,
не слишком гордые,
грешные?
Зачем ваши души
выданы
в липкие лапы молвы?
Кому это все ж таки
выгодно,
чтоб лишними
были вы?
Чтоб вы обо всем
забывали?
Чтоб жизнь вам казалась
тесною?
Чтоб вы
вином запивали
песню,
лишь с виду дерзкую:
«Мы
лишние.
Мы неуемные.
Нас понимает
любой!
Политики
не признаем мы,
а признаем любовь!
Рабы
разгулявшейся плоти,
мы —
лишнее поколение —
унылое чувство
локтя
сменили
на чувство колена.
Мы лишние,
лишние,
лишние!
Лишние нощно и денно!..»

Конечно,
все это —
личное,
личное ваше дело...
Но вот
к небрежному парню
неумолимо и веско
однажды —
для вящей памяти —
ляжет на стол
повестка.
«Я лишний...
Не надо!
Я лишний...
С политикой я не знаком».

Но рявкнет фельдфебель рыжий:
— Прр-р-рямо-о!
Бегом!! —
А через пару суток
в очень серьезный день
парню
дадут подсумок,
в котором —
сорок смертей.
Потом поведут —
погонят
(он будет не лишним
в строю!).
И пуля его уколет
в Африке,
в первом бою...
Над высушенной гвоздикой
прошебаршит гром.
И на песок
тихий
тихо
вытечет кровь.
Станет сердце
неслышным.
Небо застынет в глазах...
«Не надо...
Ведь я же
лишний...» —

успеет парень
сказать.
Но будет
грохотом танка
в землю
вдавлена фраза!
И все оборвется...

Так-то,
уважаемая Франсуаза.
А где-то
в своем Париже,
которого не повторить,
станет девчонка стриженая
лишние слезы
лить.
Лишними станут подруги,
лишним покажется март,
лишними станут руки,
привыкшие обнимать.
Будет войной зачеркнут
ее молчаливый Жан...
Мне жалко
эту девчонку.
Мне этого парня
жаль.
Небрежного,
лишнего парня,
которому нравится бокс.
Который в своей компании —
по общему мнению —
бог.
Он говорит медлительно,
он знает
новинки джаза.
Он очень не любит политики.

Он верит вам,
Франсуаза.

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ

Охотники
за штанами,
любители тряпок стильных,
слышу ваши стенанья
у интуристских
гостиниц.
Слышу ваше посапыванье
и вкрадчивые голоски:
«Сэр,
уступите запонки»,
«Мистер,
продайте носки».

Мистеры ухмыляются,—
просьба
слаще халвы,—
мистерам представляется,
что перед ними
не вы!
Что это,—
завидев брюки,
которым копейки
цена,—
к ним подползает на брюхе
прославленная страна!
От счастья лишившись голоса,
как на огонь
мотыльки,—
ползут
покорители космоса

на импортные
ярлыки.
Бредя чужой валютою,
покорно ждут у дверей
внуки
солдат Революции,
дети
богатырей!
За барахлом охотятся,
унижаются за пятак...

Мистерам
очень хочется,
чтобы было и в жизни так.

Да будет
святым и безжалостным
презренье
моей страны
к вам,
честь променявшим запросто
на импортные штаны.

О ДОРОГАХ

В. А. Луговскому

Есть кладбище дорог.
Не слышали?
Есть кладбище дорог.
Не знаете?!
Закованы
в глухие наледи.
Заметены песками
рыжими.
Дороги мертвые,
холодные,
дороги длинные
и страшные,
забывшие надежды радужные,
засыпаны и захоронены...
Они от ливней не лоснятся,
над ними ветер не проносится.
Я знаю:
мертвым
сны
не снятся!..
К дорогам
это не относится.
Я верю:
им
через годины,
полузабытым,
тихо грезится:
они опять на солнце греются.

Они опять необходимы.
И снова
терпко пахнут пряности,
и туча громыхает вешняя,
и караван шагает вежливо
дорогой слез,
дорогой радости...
И вновь стерня сухая
колется,
и суженые вновь прощаются.
Храпящая
проходит конница,
с подковами
теряя счастье...
Дороги грезят,
опечалены
несбыточностью этих снов...
А в каменную пыль впечатаны
следы босых
дубленых
ног!
Дороги длинные, протяжные
засыпаны и захоронены...
Над ними
города построены.
Легла земля слоями тяжкими.
Большое солнце
светит ласково,
гудроны по земле распластаны.
Мерцают
рельсовые лезвия...
Им хорошо.
Они —
железные.

ПЕРЕМЕЩЕННЫЙ

Глупо
искать виновников,
перетряхивать времена.
Глупо
искать виновников.
Война виновата.
Война.
Что где-то,
грузно ступая
по злой,
по чужой земле,
молча
шагает парень,
родившийся в русском селе.
Ни разу он не был ранен,
но в темном разгуле войны
он —
восьмилетний —
украден
был у своей страны.
Украденный
у Артека,
украденный
у земли,
у каждого человека,
у каждой новой зари,
у первых весенних салютов,
у мужества своего.
Украденный
у институтов,
которые ждали
его.

От будущего отрешенный,
за дальние дали отброшенный,
изломанный,
перемещенный
почти на полвека —
в прошлое.

Туда,
где сурово и сипло
раскатываются гудки,
туда, где у власти —
Зимний,
где в тюрьмах —
большевики.
Туда, где с колен подняться
труднее,
чем встать из гроба.
Туда,
где хруст ассигнаций
громче любого грома!
Оттуда задаром не вырвешься.
Задаром туда не ворвешься.

Как он там?
Пообвыкся?
Как ему в прошлом
живется?
Что ему,
темному,
вдалбливают,
вколачивают в башку?
Чем его там задабривают?
За что
швыряют деньгу?
В какие одежды он рядится?
Верит каким богам?
С какими дружками
шляется
ночью по бардакам?
Какими он бродит Мюнхенами?
На чем он срывает
злость?
Какими казнится
муками?..

А может, без мук
обошлось?!
А может,—
напрочь запроданный,—
в качающихся вечерах,
узнать не успевший родины,
скрывая дремучий страх,
пытаясь казаться сильным,
себе самому
грубя,
кричит он:
«Россия!
Россия!
Я
проклинаю тебя!»
И плачет.
И смотрит зверем.
И снова боится всего...

А я все равно
не верю
этим словам его.
Я вижу, как на рассвете —
чужой дождливой зимой —
по очень крутой планете
шагает
ровесник мой.
Измотанный,
ожесточенный,
сквозь время и города
шагает
перемещенный
в ничто,
в пустоту,
в никуда.
Горестные и ясные
он поднимает глаза...
Из прошлого
в настоящее
самолетом —
четыре часа.

ОЗЕРУ ИССЫК-КУЛЬ — ТРАДИЦИОННОЕ

Говорят,
ты мелеешь, озеро?
Говорят,
высыхаешь, скорбя?
И становится
с каждою осенью,
с каждым летом
меньше
тебя.

Положеньем таким удрученные,
в кабинетной строгой тиши
пожимают плечами
ученые
дипломированные мужи.
Мне тягаться с ними
невесело,
но иначе
как можно жить?
Совершенно новую версию
я попробую предложить:
реже —
тощие и костистые,
чаще —
склонные к полноте,—
начинающие и маститые
подъезжают
к твоей воде.
Приезжают поэты-лирики,
напрягают свои умы,

опускают
скромные лики:
«Дай глоток водицы...
Взаймы...»

Ты даешь им.
А что тебе?
Жалко?!
Что убудет в твоей красе?!

Уезжают в машинах
жаворонки
по асфальтовому шоссе.

Ежедневной обложено данью,
чистой полное
голубизны.

Но выходят
переиздания —
голубее
твоей волны.
И поэмы пекутся недолго,
и названьям потерян счет.
По прилавкам Госкниготорга
иссык-кульская пена течет.
А тобой
ничего не нажито.

Но озерная гордость
есть!
Я готов поспорить:
однажды
это дело
тебе надоест.
И когда на песке прибрежном
встанет
лирик очередной,
ты его по плечу небрежно
хватишь мокрой
гривастой волной.
Скажешь:
«Глупая трата времени!
Не проси!

Надоело мне».
Скажешь:
«Хватит
стихотворения
вывозить на моей спине!»

А потом ты на книги ляжешь,
на́ лирические труды.
Всею массою!
Представляешь,
сколько это будет
воды?!

ВЕЧЕР В ГОРАХ

М. Джангазиеву

Вечер неудержимо
двигается туда,
где в солнце вцепилась вершина
сумрачного хребта.
Вцепилась угластыми склонами,
замкнула на сто замков
скрюченными,
холодными
пальцами ледников.
Переливается медно.

Но вечеру
не до игры.
Он подступает медленно
к самому горлу горы.
Он тихий,
он мягкий, как олово.

И, грузные веки смежив,
засыпает гора,
под голову
облако положив.

ПАМЯТНИК ПРЖЕВАЛЬСКОМУ

А. Салиеву

Пыль
спокойно и жирно
на дорогах прожаренных
млеет...

Даже горы стареют.
Даже вечные горы —
в морщинах.
Даже скалам бессменным
все чаще
мерещатся грозы.

Я узнал,
что бессмертен
орел,
ставший мертвою бронзой.
Я узнал,
что нередко,
высотой ледниковой натешась,
на него заглядевшись,
замолкают
падучие реки...
Мы порою орем
о смешных,
пустяковых обидах...
Неподвижный орел
всей своей оперенностью —
в битвах!

Всей крылатостью —
в небе!..

И, взглядом окинув дороги,
выбирает из многих
ту,
которая людям
нужнее.

СТАДИОН

Поверить не хочу,
что это сделано
из камня,
из металла
и из дерева.
Что эти переходы кружевные —
холодные,
немые,
неживые...

Нет!
Он живой!
Мы с ним теперь приятели.
Меня он принял
в теплые объятия —
прожаренный безоблачными полднями,
тысячеглазой публикой наполненный,
наполненный волненьями и страхами...
От всех болезней
он находит снадобья,—
он поглощает
реки лимонадные,
похрустывая
свежими баранками.
...А как преображается движение,
когда кипит
спортивное сражение!
Когда он —
озорной,
помолодевший —

вздыхает
то с упреком,
то с надеждой.
Как он вникает в каждую подробность!
И видит все.
И ненавидит робость!
Стремительность и слаженность приветствуя,
он сердцем отмечает
каждый промах.
Когда ж он произносит
слово веское,
то это пострашней,
чем грохот грома!
Действительно, ничем не удержимо...
Как он тогда клокочет и дымится,
похожий на взрывчатку,
на пружину,
готовую в секунду распрямиться!
До самого конца не затихает...

...А вы видали,
как он отдыхает?
Вы пробовали
на него взглянуть,
когда полночный город
успокоится?

Спит стадион,
в тугой клубок свернув
трибунные
натруженные кольца.

ПОД ВОДОЙ

С головою накрыла,
понесла,
закружила волна...

И меня обступила,
обняла тишина,
тишина...
Запотевшая маска.
Прохладная
синяя жуть...
Обитателем
Марса
себе самому я кажусь.
Можно быть невесомым,
можно птичий полет повторить.
Можно тихо и сонно
в бездонном пространстве
парить.
Можно весело ринуться
в темноватую,
длинную глубь
и руками зарыться
в сплетенье невиданных клумб...
Здесь колышутся водоросли
медленно,
не торопясь...
Можно
в заросли пестрые,
как в свежее сено,
упасть!

Здесь ни всплеска,
ни всхлипа,—
тишина
говорить не велит...
Онемевшая рыба
губами слегка шевелит.
Камни в рыжих накрапах,—
лоснящиеся бока.
Царство
медленных крабов,
неслышное царство песка.
Одиноко и тускло
мелькнула кефаль в стороне.
Виснет льдышка медузы,
покорная тишине.
Тишина
нарастает.
Тишина за спиною встает...

Мне здесь грохота
не хватает!
Мне ветра
недостает!

РЫБАКИ

С. Красаускасу

Что вы ловите,
рыбаки?
Что ловите?..
Как всегда,
неприступны и застенчивы,—
над гудящей рекой
вы расставили локти,
будто не удочки у вас в руках,
а уздечки.
Будто это не река,
а конь взнузданный,
будто слышится вам
топот копыт частый,
будто в жизни вам
только это и нужно —
вечно мчаться
за своим рыбацким счастьем.
Пригибаясь к холке коня,
тихо охаете...
А к высоким сапогам
глина прилипла.
А в ведерках —
сплошняком ерши
да окуни.

Где ж она —
золотая ваша
рыбка?..

Мимо вас по реке —
лодки, лодки...
А за моим окном
глухо шумит улочка.
Я сижу,
расставив широко локти.
У меня в руках не карандаш,
а тоже — удочка.
Я, как вы, рыбаки,
пробую разное.
Мне
ленивую плотву ловить не хочется.
Я в поток ревущий удочку забрасываю,—
по тетрадному листу
круги расходятся.
Расходятся круги,
разбегаются...
А улов мой
вяло иглами ершится.
Над усталой головою
солнце катится,
в каждой капле отражаясь,
в каждой жизни...
Может, скажут:
«Ты ловить не умеешь!
Не всегда тебе
терпенья хватает».
Нет, поймите,—
мне надоела мелочь,
мелочь!
А где —
она?
Где моя рыбка
золотая?
Где она —
неповторимая —
хоронится?
На какой такой глубине опасной?
Как вам ловится,
рыбаки?
Как ловится?
Я желаю вам удачи.
Удачи рыбацкой.

РЕКВИЕМ

(*Поэма*)

Памяти наших отцов и старших братьев, памяти вечно молодых солдат и офицеров Советской Армии, павших на фронтах Великой Отечественной войны

1

Вечная
Слава
Героям!
Вечная слава!
Вечная слава!
Вечная
слава
героям!
Слава героям!
Слава!!
...Но зачем она им,
эта слава,—
мертвым?
Для чего она им,
эта слава,—
павшим?
Все живое —
спасшим.
Себя —
не спасшим.
Для чего она им,
эта слава,—

мертвым?..
Если молнии в тучах заплещутся жарко
и огромное небо
от грома оглохнет,
если крикнут
все люди земного шара,—
ни один из погибших
даже не вздрогнет.
Знаю:
солнце
в пустые глазницы не брызнет!
Знаю:
песня
тяжелых могил не откроет!
Но от имени
сердца,
от имени
жизни
повторяю:
Вечная
Слава
Героям!..
И бессмертные гимны,
прощальные гимны
над бессонной планетой
плывут величаво...
Пусть
не все герои,—
те,
кто погибли,—
павшим
Вечная слава!
Вечная слава!..
Вспомним всех поименно,
горем
вспомним
своим...
Это нужно —
не мертвым!
Это надо —
живым!
Вспомним
гордо и прямо
погибших в борьбе...

Есть
великое право:
забывать о себе!
Есть
высокое право:
пожелать и посметь!..
Стала
Вечною Славой
мгновенная
смерть.

2

Разве погибнуть ты нам завещала,
Родина?
Жизнь
обещала,
любовь
обещала,
Родина.
Разве для смерти
рождаются дети,
Родина?
Разве хотела ты
нашей смерти,
Родина?
Пламя
ударило в небо —
ты помнишь,
Родина?
Тихо сказала:
«Вставайте на помощь...» —
Родина.
Славы
никто у тебя не выпрашивал,
Родина.
Просто был выбор у каждого:
я
или
Родина.
Самое лучшее и дорогое —
Родина.
Горе твое —

это наше
горе,
Родина.
Правда твоя —
это наша
правда,
Родина.
Слава твоя —
это наша
слава,
Родина!

3

Плескалось багровое знамя,
горели багровые звезды,
слепая пурга накрывала
багровый от крови закат,
и слышалась
поступь дивизий,
великая поступь
дивизий,
железная поступь
дивизий,
точная поступь
солдат!
Навстречу раскатам
ревущего грома
мы в бой поднимались
светло и сурово.
На наших знаменах
начертано слово:
Победа!
Победа!
Во имя Отчизны —
победа!
Во имя живущих —
победа!
Во имя грядущих —
победа!
Войну
мы должны сокрушить.
И не было гордости выше

и не было доблести выше —
ведь, кроме
желания выжить,
есть еще
мужество
жить!
Навстречу раскатам
ревущего грома
мы в бой поднимались
светло и сурово.
На наших знаменах
начертано слово:
Победа!
Победа!

4

Черный камень,
черный камень,
что ж молчишь ты,
черный камень?

Разве ты хотел такого?
Разве ты мечтал когда-то
стать надгробьем
для могилы
Неизвестного солдата?
Черный камень.
Что ж молчишь ты,
черный камень?..
Мы в горах
тебя искали.
Скалы
тяжкие
дробили.
Поезда в ночах
трубили.
Мастера в ночах
не спали.
Чтобы умными руками,
чтобы
собственною кровью
превратить
обычный камень

в молчаливое
надгробье.
Разве камни
виноваты
в том,
что где-то под землею
слишком долго
спят солдаты?
Безымянные
солдаты.
Неизвестные
солдаты...
А над ними
травы сохнут.
А над ними
звезды меркнут.
А над ними
кружит беркут.
И качается подсолнух.
И стоят над ними
сосны.
И пора приходит
снегу.
И оранжевое солнце
разливается по небу.
Время
движется над ними...
Но когда-то,
но когда-то
кто-то в мире
помнил
имя
Неизвестного солдата!
Ведь еще
до самой смерти
он имел друзей немало.
Ведь еще
живет на свете
очень старенькая
мама.
А еще была
невеста.
Где она теперь —
невеста?..

Умирал солдат —
известным.
Умер —
Неизвестным.

5

Ой, зачем ты,
солнце красное,
все уходишь —
не прощаешься?
Ой, зачем
с войны безрадостной,
сын,
не возвращаешься?
Из беды тебя я выручу,
прилечу
орлицей быстрою.
Отзовись,
моя кровиночка!
Маленький.
Единственный...

Белый свет
не мил.
Изболелась я.
Возвратись,
моя надежда!
Зернышко мое.
Зорюшка моя.
Горюшко мое,—
где ж ты?

Не могу найти дороженьки,
чтоб заплакать над могилою.
Не хочу я
ничегошеньки,—
только сына милого.
За лесами моя ластынька.
За горами — за громадами...
Если выплаканы глазыньки,
сердцем
плачут матери.

Белый свет
не мил.
Изболелась я.
Возвратись,
моя надежда!
Зернышко мое.
Зорюшка моя.
Горюшко мое,—
где ж ты?

6

Когда ты, грядущее?
Скоро ли?
В ответ на какую
боль?..

Ты видишь:
самые гордые
вышли на встречу с тобой.
Грозишь частоколами надолб.
Пугаешь угластыми кручами...
Но мы
поднимем себя
по канатам,
из собственных нервов
скрученным!
Вырастем.
Стерпим любые смешки.
И станем
больше богов!..
И будут дети
лепить снежки
из кучевых облаков.

7

Это песня о солнечном свете,
это песня о солнце в груди.
Это песня о юной планете,
у которой
все впереди!

Именем солнца,
именем Родины
клятву даем.
Именем жизни
клянемся павшим героям:
то, что отцы не допели,—
мы
допоем!
То, что отцы не построили,—
мы
построим!

Устремленные к солнцу побеги,
вам
до синих высот
вырастать.
Мы —
рожденные песней победы —
начинаем жить и мечтать!
Именем солнца,
именем Родины
клятву даем.
Именем жизни
клянемся павшим героям:
то, что отцы не допели,—
мы
допоем!
То, что отцы не построили,—
мы
построим!

Торопитесь,
веселые весны!
Мы погибшим на смену
пришли.
Не гордитесь,
далекие звезды,—
ожидайте
гостей с Земли!
Именем солнца,
именем Родины
клятву даем.
Именем жизни
клянемся павшим героям:

то, что отцы не допели,—
мы
    допоем!
То, что отцы не построили,—
мы
    построим!

8

Слушайте!
Это мы
        говорим.
Мертвые.
Мы.
Слушайте!
Это мы
        говорим.
Оттуда.
Из тьмы.
Слушайте!
            Распахните глаза.
Слушайте до конца.
Это мы говорим,
мертвые.
Стучимся
            в ваши сердца...
Не пугайтесь!
Однажды мы вас потревожим во сне.
Над полями
                свои голоса пронесем
                                в тишине.
Мы забыли,
                как пахнут цветы.
Как шумят тополя.
Мы и землю забыли.
Какой она стала,
                земля?
Как там птицы?
                Поют на земле
без нас?
Как черешни?
                Цветут на земле
без нас?
Как светлеет река?

И летят облака
над нами?
Без нас.
Мы забыли траву.
Мы забыли деревья
давно.
Нам
шагать по земле
не дано.
Никогда
не дано!
Никого не разбудит
оркестра
печальная
медь...
Только самое страшное,—
даже страшнее,
чем смерть:
знать,
что птицы
поют на земле
без нас!
Что черешни
цветут на земле
без нас!
Что светлеет река.
И летят облака
над нами.
Без нас.
Продолжается жизнь.
И опять
начинается день.
Продолжается жизнь.
Приближается время дождей.
Нарастающий ветер
колышет
большие хлеба.
Это —
ваша судьба.
Это —
общая наша
судьба...
Так же птицы
поют на земле

без нас.
И черешни
цветут на земле
без нас.
И светлеет река.
И летят облака
над нами.
Без нас...

9

Я не смогу.
Я не умру...

Если
умру —
стану
травой.
Стану
листвой.
Дымом костра.
Вешней землей.
Ранней звездой.
Стану волной,
пенной волной.
Сердце
свое
вдаль унесу.
Стану
росой,
первой грозой,
смехом детей,
эхом в лесу...
Будут в степях
травы
шуметь.
Будет стучать
в берег
волна...

Только б
допеть!
Только б
успеть!

Только б
испить
чашу
до дна!
Только б
в ночи
пела труба!
Только б
в полях
зрели хлеба!..
Дай мне
ясной жизни,
судьба!
Дай мне
гордой смерти,
судьба!

10

Помните!
Через века,
через года,—
помните!
О тех,
кто уже не придет
никогда,—
помните!

Не плачьте!
В горле сдержите стоны,
горькие стоны.
Памяти
павших
будьте достойны!
Вечно
достойны!
Хлебом и песней,
мечтой и стихами,
жизнью просторной,
каждой
секундой,
каждым
дыханьем
будьте достойны!

Люди!
Покуда сердца
стучатся,—
помните!
Какой ценой
завоевано счастье,—
пожалуйста,
помните!
Песню свою
отправляя в полет,—
помните!
О тех,
кто уже никогда не споет,—
помните!
Детям своим
расскажите о них,
чтоб запомнили!
Детям
детей
расскажите о них,
чтобы тоже
запомнили!
Во все времена
бессмертной Земли
помните!
К мерцающим звездам
ведя корабли,—
о погибших
помните!
Встречайте трепетную весну,
люди Земли.
Убейте
войну,
прокляните
войну,
люди Земли!
Мечту пронесите через года
и жизнью наполните!..

Но о тех,
кто уже не придет
никогда,—
заклинаю,—
помните!

1960

ПЯТНАДЦАТЬ МИНУТ ДО СТАРТА

(Диалог)

Диктор

Внимание! Внимание! До старта космической ракеты осталось пятнадцать минут! Повторяю: до старта космической ракеты осталось пятнадцать минут. Внимание!..

Человек

Ну вот и настал этот день...
Он вошел в дома
обычным листком отрывного календаря...
Что же,
присядем перед дорогой,
слышишь, Земля?
Так полагается.
Ты это знаешь сама.

Земля

Я знаю обычаи ваши, родной Человек,—
пускай пред тобою
я буду в вечном долгу,—
но только остановиться,
замедлить бег
ни на минуту,
ни на секунду я не могу.
Прости...

Человек

Да что ты, Земля!
Я просто шучу...

Сигнальные огоньки сейчас подмигнут.
Пятнадцать минут до старта.
Пятнадцать минут...
Поговорим, Земля.
Я запомнить твой голос хочу.

Земля

О чем?

Человек

Обо всем.
Об этих минутах.
О днях,
которые были и будут.
О ранней весне.
Об очень дальних дорогах.
О первом мальчишеском сне,
который сбывается.
И о летящих огнях.
О том, как утром спросонья
потягиваются цветы.
О том, как тихо плещет
большая река.
О правде,
суровой, как ты.
О девушке,
нежной, как ты.

Земля

Я знаю ее, эту девушку...

Человек

Наверняка.
Ты знаешь ее...
Мы шли по твоим лугам.
Поляны мы выбирали в лесу потемней.
И было жарко рукам.
И жарко губам...
Ты знаешь ее,
но все ж таки
поговорим и о ней.
О ветре,
который плывет по твоим степям.

О дожде,
который полям урожай несет.
О том, что я очень привязан к тебе
и люблю тебя...

Земля

Я это знаю,
сын мой.

Человек

Ты знаешь не все...
Пришел этот день.
Этот час.
Удивительный час...
Проходит он тихо,
и я его не тороплю...
И всё где-то там,
всё уже за спиною сейчас:
прощанье,
цветы
и заботливый голос врача.
Большая Москва
в предрассветных спокойных лучах...
Очень крепко ты держишь людей.

Земля

Потому что люблю.

Человек

Да я понимаю...
Стоишь ты за нас горой.
Как добрая мать,
ты к нам беспощадно строга.
Но дети взрослеют.
Стремятся в полет!
И порой
огромнейшим грузом
висишь ты
на наших ногах.

Земля

Неправда!
Я вовсе не против полета.
Взлетай!

Лети на другие планеты,
но только учти:
я
тайны
храню!
Даже сотую часть
этих тайн
открыть не смогли вы!

Человек

Сможем, Земля! —
Погоди.
Ведь дело не в том,
что для нас уже
мало тебя.
Что воздух — не сладок!
Что свищут не так соловьи! —
Нет!
Слышишь, Земля! —
Неудачи и муки стерпя,
на дальних планетах
узнаем мы тайны твои...
Земля, я люблю тебя очень!
Ты жди.
Я вернусь,
но в эти минуты прощальные
вот что скажу:
все тайны вселенной
откроем мы скоро.
Клянусь!
Я верю в науку и правду,
которым служу...
Чем встретишь,
когда я вернусь к материнской груди?
Цветами и славой?
Разгулом весенней грозы?
А может, не этим?
А может,
пока я в пути,
судьба человечества
ляжет плашмя на весы?!
Расколется атом,
живое испепеля!
Все прошлое,

все настоящее
канет во тьму!
И я возвращусь в тишине.
Возвращусь ни к кому...

Земля

Не надо об этом.

Человек

Нет, надо!
Послушай, Земля!
Я слишком люблю
города молодые твои.
И небо над морем —
с чайками наискосок.
И реки твои.
И смеющиеся ручьи.
И теплый песок.
И прохладную звонкость лесов...
Нельзя допустить,
чтобы на рощи твои и поля
обрушилась гибель
в проклятый,
бессмысленный миг!

Земля

Скажи это людям.

Человек

Они это знают, Земля.

Земля

Грядущее мира
зависит от них.
От самих!..

Человек

А время идет равнодушно.
Ему все равно...

Земля

Скажи мне,
а как получилось, что именно ты
стартуешь сегодня?

Человек

Не знаю.
Я помню одно:
шли письма как песни.
Как совесть народа чисты.
На всех языках.
И одно другому под стать:
«Доверьте штурвалы космического корабля!»
А сколько людей мне завидуют —
не сосчитать...

Земля

Так, значит, ты — лучше их?

Человек

Нет,
я не лучше, Земля.
Я самый обычный...
До старта не месяц, не день...
Турбины взревут,—
я умчусь в непроглядную тьму.
С собой заберу я
огромную мудрость людей.
Тепло их сердец,
их силу с собой возьму.
И все это правда,
как то, что секунды спешат,
как то, что завтра
опять заалеет восток...
В атаке всегда
кто-то делает
первый шаг.
И это не подвиг,
а просто-напросто
долг.
Ну, я не шагну,
так рядом другой шагнет.
Я встану за ним,
и армия встанет за мной!
Трубач затрубит
над бескрайнею ширью земной,
и ясное знамя
отчаянно полыхнет...
Так вышло, Земля:

я первым
в космос шагну.
Шагну, как в атаку,—
счастливый и молодой.

Земля

Опять о войне?

Человек

Да!
Я славлю такую войну!
Войну с неизвестностью,
тайнами
и темнотой.
Войну,
участье в которой —
огромная честь.
В подобной войне
есть присяга
и гордость своя.
Погибшие есть в ней.
Пропавшие без вести есть.
И есть полководцы,
и есть рядовые,
как я...
Проверено сердце.
Моторы надежны.
Итак,
начнись,
закипи
над планетой,
высокая песня!
Победная песня
космических первых атак!
Все будет в порядке.

Земля

Постой,
ну, а если...

Человек

Что «если»?
Давай договаривай!
Хочешь сказать,
что, увы,

бывают случайности?
Первый полет —
не пустяк.
Что я не привык еще
быть на таких скоростях?
Что холод —
суров?
Что межзвездные дали —
мертвы?
Могу оступиться?
Могу не вернуться?
Могу
навеки остаться
в могильной космической мгле?
Я все это знаю.
Но слышишь, Земля,
я не лгу! —
Я верю в науку
и разум людской
на Земле.
Я все это знаю.
Я все это взвесил уже.
Надежны штурвалы космического корабля...
Я все это знаю.
И страха —
ни капли в душе.
Крылатое время уже наступило,
Земля!
А если случится,
а если так выйдет, что я
прощанье скупое
в глухой микрофон прокричу,
и сердце взорвется,
и жизнь оборвется моя,—
ты думаешь,
это людей остановит?!
Ничуть!
Они будут злее.
Они будут вновь коротать
недели и месяцы,
ватманы расстеля.
И нянчить детей.
И о звездных полетах мечтать...
И снова

взлетят!
Так устроены люди,
Земля...
Сигнал.
Мне пора...
Я мечтал
о больших скоростях.
Ведь если меня испугает бездонная синь,
ты первая скажешь:
«Он трус.
Он мне больше не сын».
Живые и мертвые
этого мне
не простят.
И все это правда,
как то, что секунды спешат.
Как то, что завтра
опять заалеет восток...
В атаке всегда
кто-то делает
первый шаг.
И это не подвиг,
а просто-напросто
долг!
Ты будешь жить,
как и прежде,
часы торопя.
Но скоро поймешь, для чего,
ты поймешь, что не зря
люди —
земнее земных —
покидали тебя
во имя бессмертья и славы твоей,
Земля!..
Я заново
память свою пред тобой пролистал.
Глазастые звезды мерцают,
дразня и маня.

Диктор

До старта четыре секунды.
Внимание.
Старт!..

Человек

Прощай, Земля...

Земля

До свиданья,
гордость моя!..

1959

Из сборника РОВЕСНИКУ 1959—1962

СТИХИ О МОЕМ ИМЕНИ

Ояру Вациетису

Мне говорят:
«Послушайте,
упрямиться чего вам?
Пришла пора исправить ошибки отцов.
Перемените имя.
Станьте
Родионом.
Или же Романом, в конце концов».
Мне это повторяют.

А у меня на родине
в начале тридцатых
в круговерти дней
партийные родители
называли Робертами
спеленатых,
розовых,
орущих парней...
Кулацкие обрезы ухали страшно.
Кружилась над Алтаем рыжая листва...
Мне шепчут:
«Имя Роберт
пахнет иностранщиной».
А я усмехаюсь на эти слова.

Припомнитесь, тридцатые!
Вернись, тугое эхо!

Над миром неустроенным громыхни опять.
Я скажу о Роберте,
о Роберте Эйхе!
В честь его
стоило детей называть!

Я скажу об Эйхе.
Я верю:
мне знаком он —
большой,
неторопливый, как река Иртыш...
Приезжал в Косиху
секретарь крайкома.
Веселый человечище.
Могучий латыш.
Он приезжал в морозы,
по-сибирски лютые,
своей несокрушимостью
недругов разя.
Не пахло иностранщиной!
Пахло
Революцией!
И были у Революции
ясные глаза...
А годы над страною летели громадно.
На почерневших реках
дождь проступал,
как сыпь.
Товарищ Революция!
Неужто ты обманута?
Товарищ Революция,
где же твой сын?
В какую мглу запрятан?
Каким исхлестан ветром?
Железный человечище.
Солдат Октября.
Какими
подлецами
растоптан,
оклеветан?..
Неужто,
Революция,
жизнь его —
зря?!

От боли,
от обиды
напрягутся мышцы.
Но он и тогда не дрогнет,
все муки стерпя.
В своем последнем крике,
в последней самой мысли,
товарищ Революция,
он верил в тебя!..
Да будет ложь
бессильной.
Да будет полной
правда...
Ты слышишь, Революция,
знамен багровых
плеск?
Во имя Революции —
торжественно и прямо —
навстречу письмам
Эйхе
встает партийный съезд!
Рокочет «Интернационал»
весомо и надежно.
И вот,
проклиная жестокое вранье,
поет Роберт Эйхе —
мой незабвенный тезка!..

Спасибо вам, родители,
за имя мое...
Наверно, где-то ждет меня
мой последний
день.
Кипят снега над степью.
Зубасто встали надолбы.

Несем мы имена
удивительных людей.
Не уронить бы!
Не запятнать бы!

ЯГОДЫ

Детство как прочитанная книга...

За спиною — лес,
как два крыла.
Помню:
в том лесу росла клубника.
Нежная,
прохладная росла.
Ягоды двоились, наплывали,
в зелень зарывались от жары.
Медленно качали головами
солнечные сочные шары.
Справа.
Слева.
Всюду!
Повсеместно!
Дальше убегали —
под кусты...
Черные жуки тяжеловесно
плюхались на желтые цветы.
Сосны поднимались к небу косо,
солнце било
зло и горячо.
Легкие глазастые стрекозы
опускались на мое плечо...
Я лежал под ягодным обвалом.
На коленях ползал я.
Спешил...
А когда наелся до отвалу,

руки вытер кепкой
и решил,
что всего не съем сегодня.
Явно!
Сразу все с собой не подниму...
Но должна
принадлежать поляна
только мне!
А больше никому.
Я вернулся в лагерь,
помня это.
Целый месяц тайной дорожил.
...А когда уже кончалось лето,
ту поляну
навестить решил.
Убеждал меня вожатый главный:
мол, смотри,
в болото не зайди!
Воспитатель Марья Николавна
говорила:
— Ягод не найти!
Кончился сезон их, как известно.—
Но упорно не сдавался я:
— Ну и что же?
Я ведь знаю место.
У меня ж
поляна есть своя...—
Снова брел я сквозь кусты жестокие,
лоб мочил в студеном роднике,
рвал руками паутинки тонкие,
сотканные неизвестно кем.
Нес корзину за плечами рьяно,
тропка извивалась
как змея...
Поворот —
и вот она,
поляна!
Вот она.
Та самая.
Моя!
...Так же, как тогда,
травинки никли.
Бабочки летали.
Лес гудел...

Было все.
Но не было
клубники.
Ни единой ягодки.
Нигде...
За кустом корзина позабыта —
что случилось?
Что произошло?..
Помню:
я заплакал от обиды,
на траву свалившись тяжело.
Я тогда не понял,
в чем тут дело.

Солнце вышло из-за облаков.
И природа мудрая
глядела
на меня
глазами васильков.

ПАМЯТЬ

Память,
ты, как никогда,
легко ранима,—
ты девчоночьих имен
не сохранила.
Разберись в воспоминаниях нечетких.

Жили-были в нашем городе
девчонки.
Длинноноги,
угловаты,
синеоки,—
назначали нам свиданья
возле Омки.
Мы
терялись и зевали —
в жизнь вникали.
Нас мальчишки называли
«женихами».
Пели хитрые мальчишки
злую песню.
Говорилось в ней
о тесте
и невесте.
Мы шагали через двор,
двора не видя.

Но потом
мы «исполнителей»
ловили!

Заводили их в подъезд
и терпеливо
совершали суд
святой и справедливый...
А с девчонками
вели себя
не просто.
И по-взрослому
курили папиросы.
А вообще предпочитали
карамели,
потому что
притворяться не умели.
Мы для них сирень ломали
вдохновенно.

Но это были не романы,
а так...
Новеллы...
Память, память,
желчь
и мед —
напрасно споришь:
ты ведь даже их имен
теперь не вспомнишь...

***

А. Флярковскому

Голос начищенной меди,
ты в детство зовешь меня.
Туда,
где сады соседей
обшаривала ребятня.
Туда, где, от пыли
желт,
полк через город
шел.

А мы, уяснив для себя
значение этого факта,
от зависти черной сопя,
смотрели на музыкантов.
Они нам казались
богами,
поющими песню свою.
Ничуть они нас не ругали.
И мы, торопясь,
подбегали
к последнему в этом строю.
Шагал он особенно веско,
хоть был без особых примет.
К себе прижимал, как невесту,
рокочущий инструмент.
И шли мы,
шеренгой равняясь,
сквозь город —

до самых казарм.
И солнцем до слез наполнялись
распахнутые глаза.

А после
немало отметин
на сердце оставили дни...
Под голос начищенной меди
товарищей я хоронил.
Звенящий решительный голос
в теплушки с перрона проник.
Стояли любимые,
сгорбясь.
А мы уезжали от них...
Никто нам, товарищ, не скажет,
что нас обделила
судьба.

Но если над миром
однажды
тревожно зальется труба...
Сквозь ураганный ветер,
по ноздреватому льду
я за тобой пойду,
голос
начищенной меди!

***

— Почем фунт лиха?
— Не торгую
лихом.

Дверь в детство открывается со скрипом.
В который раз
мне память подсказала
пустынную дорогу до базара.
А на базаре
шла торговля
лихом!
Оно в те годы
называлось жмыхом.
Сырыми отрубями называлось
и очередью длинной
извивалось.
Оно просило сумрачно и сонно:
— Куплю буханку
за четыре сотни...
— Меняю сапоги
на поллитровку...

Оно
шагами меряло дорогу.
В дома входило,
улиц не покинув,
то строчкою:
«Оставлен город Киев...»
То слишком ясной,
слишком неподробной

казенною
бумагой похоронной.
И песни вдовьи
начинались тихо:
«Ой, горюшко!..
Ой, лишенько!..
Ой, лихо!..»
Глазами мудрецов
смотрели дети.

Продать все это?
За какие деньги?
Кто их чеканит?
Из чего чеканит?
Кто радости от горя
отсекает?..

Да, люди забывают о потерях.
Обманы терпят.
И обиды терпят.
Да, пламя гаснет.
Стоны затихают.
И даже вдовьи слезы
высыхают.
И снова людям
новый век отпущен.

Но память
возвращается к живущим.
Приходит память,
чтобы многократно
перехлестнуть календари
обратно.
Она в ночи плывет над головами
и говорит неслышными словами
о времени
суровом и великом.

Я помню все.
Я не торгую
лихом.

КОНЦЕРТ

Сорок трудный год.
Омский госпиталь...
Коридоры сухие и маркие.
Шепчет старая нянечка:
— Господи!..
До чего же артисты
маленькие.

Мы шагаем палатами длинными.
Мы почти растворяемся в них
с балалайками,
с мандолинами
и большими пачками книг...
Что в программе?
В программе — чтение,
пара песен
военных, правильных.

Мы в палату тяжелораненых
входим с трепетом и почтением...
Двое здесь.
Майор артиллерии
с ампутированной ногой,
в сумасшедшем бою
под Ельней
на себя принявший огонь.
На пришельцев глядит он весело...
И другой —
до бровей забинтован,—
капитан,

таранивший «мессера»
три недели назад
над Ростовом...
Мы вошли.
Мы стоим в молчании...
Вдруг
срывающимся фальцетом
Абрикосов Гришка отчаянно
объявляет начало концерта.
А за ним,
не вполне совершенно,
но вовсю запевале внимая,
о народной поем,
о священной
так,
как мы ее понимаем...
В ней Чапаев сражается заново,
краснозвездные мчатся танки.
В ней шагают наши
в атаки,
а фашисты падают замертво.
В ней чужое железо плавится,
в ней и смерть отступать должна.
Если честно признаться,
нравится
нам
такая война...
Мы поем...
Только голос летчика
раздается.
А в нем — укор:
«Погодите!..
Постойте, хлопчики...
Погодите...
Умер
майор...»
Балалайка всплеснула горестно.
Торопливо,
будто в бреду.

...Вот и все
о концерте в госпитале
в том году.

ЗАСУХА

— Развесели,
хоть чем-нибудь развесели!..

— Смотри:
дожди не долетают до земли.
Не долетают,
вянут в мареве густом.

— Да не о том ты!
Вовсе не о том!
Я это слышу сорок дней подряд —
ты лучше о другом.

— Хлеба горят.

— Придумай сказку с радостным концом!
Пусть девушка с веснушчатым лицом
придет, как шум дождя,
как ветра шум...
Придумай сказку —
я тебя прошу...
Пусть хлебом пахнет
теплым,
аржаным.
Придумай...

— Сумасшедшая жарынь!
Такой горячей,
медленной реки
кудлатые не помнят старики.

— Развесели!
Развесели хоть чем-нибудь!..

— Сухую землю
трактора скребут.
Так светит солнце,
что в глазах темно.
Жестокое,
свирепое,
оно
вбивает в пашню
жесткие лучи.

— Спасибо, друг.
Развеселил.
Молчи.

РАССКАЗ ДИРЕКТОРА РАЙОННОЙ КОНТОРЫ «ЗАГОТЗЕРНО»

Я не встречал за всю свою жизнь
этакой красоты.
Хлеба такие,
что сверху ложись —
выдержат:
до того густы.
Не верил,
что все это наяву.
Радоваться б надо,
а я
выйду в поле,
стою и реву:
«Погибель
растет моя».
Вот уж действительно
дело труба!
Подсудное зреет
дело...
«Растите, хлеба!
Наливайтесь, хлеба!
Но только
куда ж я вас дену?»
Тут арифметика не нужна.
Да что я,
разве ослеп?
Да разве в амбарчик «Заготзерна»
влезет
этакий хлеб!

Я ж в город еще зимою писал.
Требовал.
Умолял!
Угрожал!!
А мне в ответ:
нажми,
подтяни.
Нам, дескать, виднее
сверху...
На все мои слезные письма
они
комиссии шлют
для проверки.

Ну и дождался.
Приехал один
«ответственный»
с бабьим голосом,
десять минут по усадьбе ходил
с видом Шерлока Холмса.
Очень долго в затылке скреб,
морщился недовольно.
Потом подошел ко мне
и изрек:
«Вы
с работы
уволены...
Развал у вас непростительный.
Сдайте дела
заместителю».
Я —
к заму.
«Давай,—
толкую ему,—
раз уж такое дело».
«Нет,—
говорит,—
ни за что не приму...
Чего мне?
Жить надоело?!»

Что делать прикажешь?
И тут, на беду мою,
без рассуждений и лишних слов

мы с замом
фамилию просто придумываем
и пишем:
«Контору принял Смирнов».
И —
началось!
На себя пеняй,
но каждое утро
снова
Смирнову в приказах дают нагоняй,
в крайцентр вызывают Смирнова.
Смирнову весь день за звонком звонок
(мы уж и сами не рады),
Смирнову — письма,
Смирнову — зарплата...
А я
буквально падаю с ног.
Ты вот смеешься,
а участь моя
была непонятней снов.
Я даже поверил,
что я — не я,
а этот самый
Смирнов.

Представь:
сентябрь.
Под грузом немалым
машины ревут угрожающе.
И в грохоте,
в ливнях
сплошным навалом
идет
на меня
урожаище!
Идет необъятный.
Идет полновесный!
И знает:
погибнуть ему не позволим.
Навесы.
Навесы.
Навесы!
Навесы!!
Мы строили их до кровавых мозолей,

за этим делом невиданной спешности
забыв про еду,
про усталость и славу.
Так строят за ночь
в бою
переправу —
с такой же яростью
и неизбежностью!
А если уснешь,
то и сны об одном:
грязь,
перемешанная с зерном.
Фары по окнам.
В глазах круги.
Хлюпающие сапоги...
И снова
нет ни ночи, ни дня!
Снова шагаешь,
погоду кляня.
Снова
охрипшая шоферня
кроет господа
и меня.

Потом я читал —
хвалили в докладе:
Смирнов, мол, отлично работу наладил.
Приехал к нам секретарь крайкома
(мы с ним по фронту еще знакомы).
Узнал.
Подивился смирновской славе,
долго смеялись над ней.
Фамилию в грамоте переправил,
вручил эту грамоту
мне.

Сейчас это странно все,
а тогда
думал:
песенка спета...

Большой урожай был.
Прямо беда!
Почаще б такие...
беды.

***

Нахохлятся тяжелые колосья
по всей земле,
размякшей и огромной.
Потом настанет осень.
Хлынет осень,
сиреневым морозом
травы тронув.
И длинный дождь,
с три короба наплакав,
лесную чащу с головой накроет,
разлапистые листья покоробит.

Опавшие,
в оранжевых накрапах,
они цветным пластом на землю лягут
и будут глухо чавкать под ногами.
И вспоминать
о светлом птичьем гаме,
о месяце грибов и спелых ягод.

И медленное солнце будет таять.
И незаметно
удлинится время.
И в сотый раз
я не смогу представить,
как выглядят
июньские деревья.

ПЕРЕД РАССТАВАНИЕМ

Я к тебе приеду поездом,
так, чтобы не знала ты.
На снегу весеннем
пористом
проторчу до темноты.
В дверь звонить не стану бешено,
а когда вокруг темно —
я тихонечко
и бережно
стукну в низкое окно.
Ты в окошко глянешь боязно,
я сильнее постучу...

Нет!
Я не поеду поездом!
Самолетом прилечу.
Да!
Конечно!
И немедленно,
ошалев от маяты,
позвоню из Шереметьева
и в ответ услышу:
«Ты?!
Где?
Откуда?
Что ж ты мучаешь?!
Как приехал?!
Не пойму...»

И тогда
машину лучшую
я до города возьму.
Полетит дорога по лесу,
упадет к ногам твоим...

Мне остался час
до поезда,
а мы
о встрече говорим.

ГОРОДА

Города, начинающиеся с вокзалов...
Есть у каждого города
возраст и голос.
Есть одежда своя.
И особенный запах.
И лицо.
И не сразу понятная гордость.

Города, города!
Сколько было вас —
разных?!
Деревянные,
каменные,
глинобитные,
будто гвозди,
в промерзшую землю
забитые,
города,
где любовь.
И работа.
И праздник...
Сколько раз, города,
вы
бежали навстречу,
задирая над нами кулаки семафоров?..
Становился все ближе,
различался все резче
и домов
и заборов запутанный ворох.

Города,
озорные и полные грусти...
Сколько раз
к запыленным вагонам несли вы
папиросы и яблоки,
рыбу и грузди,
крутобокие дыни,
размякшие сливы.
Пиво в кружках тяжелых
и пиво
навынос.

...А вокзал,
как пальто для мальчишки,—
на вырост!
Так и кажется:
он из грядущего года,
из грядущего года,
не от этого
города.

Отправленье.
Под самые тучи запущен
паровозный гудок.
И, рванувшись на запад,
остаются в прошлом,
остаются
в будущем
города,
начинающиеся с вокзалов.

***

Я жизнь люблю безбожно!
Хоть знаю наперед,
что —
рано или поздно —
настанет мой черед.
Я упаду на камни
и, уходя во тьму,
усталыми руками
землю обниму.

Хочу,
чтоб не поверили,
узнав,
друзья мои.
Хочу,
чтоб на мгновение
охрипли соловьи.
Чтобы,
впадая в ярость,
весна по свету шла.

Хочу, чтоб ты
смеялась!
И счастлива была.

ТАЕЖНЫЕ ЦВЕТЫ

Не привез я таежных цветов —
извини.

Ты не верь,
если скажут, что плохи
                они.
Если кто-то соврет,
что об этом читал.

Просто
        эти цветы
луговым не чета!
В буреломах,
            на кручах
пылают жарки,
как закат,
как облитые кровью желтки.
Им не стать украшеньем
                городского
                    стола.
Не для них
            отшлифованный блеск
                хрусталя.
Не для них!
И они не поймут никогда,
что вода из-под крана —
это тоже вода...
Ты попробуй сорви их!
Попробуй сорви!
Ты их держишь,

и кажется,
руки в крови!..
Но не бойся,
цветы к пиджаку приколи.

Только что это?
Видишь?
Лишившись земли,
той,
таежной,
неласковой,
гордой земли,
на которой они на рассвете взошли,
на которой роса
и медвежьи следы,—
начинают стремительно вянуть
цветы!
Сразу гаснут они!
Тотчас гибнут они!..

Не привез я
таежных цветов.
Извини.

СЛЫШИШЬ?!

А. К.

Чайку бы!
Покрепче б!
С малиной!
Какие некстати мечты!
Занозистый звон комариный.
Корявые сосны.

А ты
далёко.
Как детство,
далёко.
Далёко,
как эта река
с названием-всплеском: Олёкма —
сейчас от тебя далека.

Вхожу я под посвисты ветра,
как в воду, в дорожный азарт.
Я понял разлуку,
и это
не так мудрено
доказать.
Могу я плечом отодвинуть
от сердца глухую печаль.
И даже без писем —
привыкнуть.
И даже без крова —
смолчать.

Я видел и землю и небо,
умею ответить врагу,
могу
без воды и без хлеба,
но без одного
не могу!
Пускай это слишком жестоко,
пускай я тебя огорчу,—
прости меня!
Слышишь?!
Но только
в дороге я верить хочу,
что где-то на глобусе этом,
летящем,
как мир,
молодом,
озябшем,
продутом,
прогретом,
то темном,
а то золотом,—
ты голову дымом дурманишь,
не знаешь ни ночи,
ни дня,
и плачешь,
и руки ломаешь,
и ждешь,
как спасенья,
меня!

РЕКИ ИДУТ К ОКЕАНУ

Реки Сибири,
как всякие реки,
начинаются
ручейками.
Начинаются весело,
скользкие камни
раскалывая, как орехи...
Шальные,
покрытые пеной сивой,—
реки
ведут разговор.

Но вот наливаются
синей силой
тугие мускулы волн!
Реки —
еще в становленье,
в начале,
но гнева их страшится тайга,—
они на глазах взрослеют,
плечами
расталкивая берега.
Они вырастают из берегов,
как дети
из старых рубах.
В песок не уйдя,
в горах не пропав,
несут отражение облаков...
Смотрите:
им снова
малы глубины!

Они нараспев текут.
Они уже запросто
крутят турбины.
Плоты на себе волокут.
Ворчат
и закатом любуются медным,
а по ночам
замирают в дреме...
Становятся
с каждым пройденным метром
старее и умудренней.
Хотя еще могут,
взорвавшись мгновенно
и потемнев,
потом
тряхнуть стариною.
Вздуться,
как вены,
перетянутые жгутом!
Но это —
минутная вспышка...
А после,
освободясь от невидимых пут,
они застывают
в спокойной позе
и продолжают путь.
То длинной равниной,
то лесом редким,—
уравновешенные и достойные,—
реки — легенды,
реки — истории,
красавицы и кормилицы —
реки.
И солнце восходит.
И вянут туманы...

Свое отслужив,
отзвенев,
отсказав,
реки
подкатываются к океану,
как слезы к глазам.

ПЕЛЬМЕНИ

С. А. Герасимову

Солнце в черной туче тонет —
завтра будет дождь с утра...
Мы сидим
в добротном доме
Запевалова Петра.
Стекла дребезжат от песен,
снова гость —
через порог.
Сам хозяин пьян и весел
и по-пьяному багров.

Перемены,
перемены.
Затеваются
пельмени!

Сын хозяйский,
шепелявя,
хвастает:
— У нас в Челябе
ажно до небес домины! —
...В доме
густо
надымили.
Надымили.
Надышали.
Жарко,
будто на пожаре.

Перемены.
Перемены.
Прыгают в котел
пельмени.

А хозяин речь заводит,
как по писаному
шпарит —
о работе,
о заводе.
Работяги в спор вступают.
На столе звенит посуда
яростно и безрассудно.

Перемены.
Перемены.
Крутятся в котле
пельмени.

И опять гудит веселье...
За столом —
не в стороне —
человек поет со всеми,
пьет
со всеми наравне.
Говорит, слова смягчая,
как потомственный казак.
Только
каждый замечает
удивление в глазах.

Перемены.
Перемены.
Жаром пышут
пельмени.

Никого ты не обманывай —
плачь!
Не будет в том стыда...
Через сорок лет
без малого
приехал он сюда.
От забот служебных
вырвался,

на места родные
выбрался.

Перемены.
Перемены.
Ставь,
хозяйка,
пельмени!..

А потом идет он медленно
по выбитым лугам.
Озеро шумит размеренно,
звезды
сыплются к ногам...
То цветок сорвет и спрячет,
то посмотрит круто вверх,—
и смеется он
и плачет —
странный человек.

Остывают пельмени.
Перемены.
Перемены...

ТВОЙ ГОЛОС

Линия...
Сколько все ж таки странного
простые слова таят!..
До самой Москвы
столбы телеграфные
за руки взявшись
стоят.
Они хранят трудовое братство
в неласковом свисте зимы.
Они помогают друг другу
взобраться
на горы и на холмы.
Они вникают в любую суть,
им просто некогда зябнуть.
Они стоят.
И слова несут
о любви,
о процентах,
о зяби.
Они
чувствительнее, чем нерв,
и могущественнее, чем бог...
Но вот один проводок,
зазвенев,
скручивается в клубок.
И слова начинают,
как крупные сельди,
хвостами
бить в невода...
Товарищ врач телеграфной сети,

вылечи
провода!
Пожалуйста, вылечи!
Это надо!
Иначе —
сердце не вынесет...
Товарищ ремонтник,
если бы знал ты,
что́
от тебя зависит!
Скорей!
Чтоб зимнюю ночь рассекло
звонком,
как полоской зари.
Скорей!
Чтоб ревела трубка:
«Алло!!!»

...Говори, Москва,
говори!..

ТО, ЧТО ВСТРЕЧАЕТСЯ НА КАЖДОМ ШАГУ

Ходят люди по улицам плавно —
ростом
выше столбов рекламных,
густолистых каштанов выше.

Из каких они сказок
вышли?
Ходят в красных костюмах,
в синих.
Малорослых и слабосильных
высотою своею
дразнят.

У мальчишек в Софии праздник.
У мальчишек
забот по горло
стало нынче
от баскетбола.
Просят у великанов добрых
дать значок им или автограф.

Великаны руками разводят.
Улыбаясь
нежно и робко,
непонятные буквы
выводят
на пустых сигаретных коробках...

И мальчишки
солидным эскортом
по Софии
шагают гордо.

Впереди идут —
руки в боки —
двухметровые
баскетбоги.

ЗДЕСЬ «БОЛЕЮТ» ТАК...

Вечеру
ты не очень-то радуйся —
в нем отыскать прохладу
не просто.
Если на улице —
двадцать градусов,
на стадионе —
все девяносто!
Не спорьте.
Сперва доберитесь до сути
(кстати, это не так тяжело).
К июньскому вечеру
приплюсуйте
от раскаленных ладоней тепло.
Помножьте на градусы
тысячи воль,
прибавьте
ламп напряженье высокое,
прибавьте крик —
нет, не крик,
а вопль:
«Со́фия!
Со́фия!
Со́фия!»

До этого
я в вулканической лаве
не плавал.
Теперь я скажу в ответ:
— Лава?

Это когда запылали
факелы,
сделанные из газет.
— Лава?!
Это когда
то бурно,
то весело,
то угрожающе
стонут
трибуны,
клокочут
трибуны,
трибуны,
похожие на пожарище.

Сосед мне шепчет на ухо:
— Факт...
На это никак не рассчитывал я...
Еще полминуты —
и крышка...
Инфаркт...—
Вздыхает.
Но тут же вопит:
— Судья-а-а!!

...Мы чудом не хрипнем!
Нас
закружил он —
этот неодолимый поток...
Я здесь только понял,
как может по жилам
течь
крутой кипяток!
Я понял,
как можно оглохнуть внезапно.
Как может
раскалываться голова...

Счет встречи:
«Семьдесят — семьдесят два».
В Москве
ты узнаешь об этом завтра.

ВАРНА

Прежде чем сказать о Варне,
я спрошу тебя сначала:
океан
воды отварной
ты когда-нибудь встречала?
Любовалась ты
простором,
полным ветра,
полным зноя?
Ты пила вино,
в котором
солнце
смешано с волною?
Падала ль тебе на плечи
грусть
нежданных расставаний?..
Если да —
мне будет легче
рассказать тебе о Варне.

Столько солнца,
столько сини
я еще не видел сразу!
В наши мышцы
столько силы
не вливалося ни разу.
Мы испытываем нервы
черноморских пенных недр
(хоть на миг представь ты
негра

загорелого, как негр!).
Это море,
этот ветер
возле нас
стараются:
«Здравствуйте!
Здравей!
Здравейте!
Как вам Варна?
Нравится?»
На песок прибрежный
храбро,
важные и скрытные,
сонно выползают крабы
малогабаритные.
Тополей прямые свечи —
будто на рисунке...
А когда приносит вечер
медленные сумерки
и плывут над морем немо
облака неблизкие,
ночь
расцвечивает небо
звездами,
как брызгами.

Этой ночи
нет коварней.
Этой ночи
нет напевней.
Девушки
такие в Варне,
будто все они
из пены.
Столько всяческих улыбок,
до того они нежны,
что еще два дня...
и был бы
мой рассказ...
не для жены.

ТЕЛЕГРАММЫ

Неужели ты такая же, как эта?..

За окном звенит разбуженное лето.
Нас хозяйка дома
в гости пригласила.
Ничего не скажешь,
да,
она красива.
Да, красива.
Мы об этом ей сказали...
И она глядит глубокими глазами,
чуть раскосыми,
зелеными, сухими.

Муж ее какой-то физик или химик.
И слова ее доносятся как эхо:
«Он сейчас в командировке...
Он уехал...»
Никакой я тайны выдать не рискую —
телеграмму он прислал:
«Люблю.
Тоскую».
И еще одну:
«Тоскую.
Жду ответа».
Неужели ты такая же, как эта?..

Вот сидит она —
красивая,— не спорю.

Вот сидит она,
довольная собою.
И смеется,
и меняется мгновенно.
А глаза ее
предельно откровенны!
А глаза ее играют,
завлекая,
обещая,
предлагая,
намекая...

Никогда ханжой я не был,—
слышишь — не был!
Но сейчас поверю я
в любую небыль —
в наговоры,
в сплетни,
в выдумку любую.

Телеграмму я послал:
«Люблю.
Тоскую».
И еще одну:
«Тоскую.
Жду ответа».
Неужели ты такая же, как эта?..

Мы молчим и курим.
Тихо тянем пиво.
А хозяйка говорит:
«Совсем забыла!
Я сейчас...»
И щеки тушит
о ладони.
И подходит к телефону в коридоре.
Называет адрес
длинный, очень странный,
говорит:
«Прошу,
примите телеграмму...»

И с усмешкой, торопливо и привычно
говорит:

«Любимый!
Все идет отлично.
Не скучай.
Твоя.
Целую.
Жду ответа».

...Неужели ты
такая же,
как эта?!

***

Невероятное спасибо,
дюны!..
Освобожденно кровь стучит в виске.
Все грустные
и все пустые думы
растаяли в спрессованном песке.
Спасибо дюнам...

Высоко и прямо
они взлетели —
за грядой гряда.
Они похожи на большое пламя,
которое застыло навсегда!
Сейчас по склонам
чайки бродят важно.
Мир
красноватым светом озарен.

Все это ваше,
люди!
Ваше!
Ваше!
Как мы богаты
небом и землей!
Как мы богаты ливнями мгновенными
и трепетным дрожанием стрекоз,
И снегом.
И нетронутыми вербами.
Смолой,
лениво капающей в горсть.

Дурманящими запахами сена.
Тяжелой желтизной
пчелиных сот.
Богаты
югом мы.
Богаты
севером.
И ревом рек.
И тишиной лесов.
И жаворонка песней беспричинной.
И соснами,
смотрящими в зарю.

Я на песке тугом
лежу песчинкой
и тихо-тихо дюнам говорю:
Спасибо,
дюны!
До конца спасибо.
За ясность.
За последние цветы.
За то, что
необыкновенной силой
пронизаны шершавые хребты.
Спасибо вам,
немые,
беспредельные,
плывущие сквозь ветровую вязь.

Спасибо,
добрые,
за все,
что сделаю
после того,
как я увидел вас.

***

Э. Межелайтису

Песок размахнулся
надменно и голо.
Колеблются медленно длинные тени.
Песчаные горы.
Печальные горы.
Сиреневый лес —
марсианским виденьем...
Нам все непонятно.
Мы время торопим.
Мы каждую мелочь,
волнуясь, вбираем:
«Послушай!
А что там, за тем поворотом?
А что там, за лесом?
А что за горами?
Откуда
такое раздолье возникло?..»
Мы на гору лезем.
Спешим, как шальные.

Пускай это вовсе не Марс.
Это — Нида.
И дюны —
земные.
И тени —
земные.
Земная усталость.
Земные заботы.

Но разве же
мы на Земле не сгораем
в вопросах:
«А что там, за тем поворотом?
А что там, за лесом?
А что за горами?
А что за душою у этого парня?
А что за улыбкою женщины этой?..»
Волнуясь,
печалясь,
недосыпая,
мы истину ищем.
Мы ищем ответы!
Но сами ответы
звучат как вопросы.
И месяц
висит вопросительным знаком.

Как много мы знаем!
Как мало мы знаем!
Как здорово жить на земле!
Как непросто!

***

А. Балтакису

До самого горизонта
мерцает зовуще и вечно
лунная дорога,
сделанная из слюды.

А мы шагаем по дюнам.
Мы вышли в четыре вечера.
За нами остаются
глубокие следы...
Когда же
мы устанем?
Никогда не устанем!
Когда ж мы остановимся?
Тоже никогда!..
Гул от нашей походки
ширится,
нарастает,
и эхо ударяется
в грядущие года!..
Дышит в наши лица
то зноем,
то холодом,
тяжело ворочается
шар земной.

А мы шагаем дальше!
И там,
где мы проходим,—

следы остаются
за нашею спиной.
Следы остаются —
великие и простые.
За нами
в небо ввинчиваются
синие дымы.
Следы остаются
в тундрах и пустынях
садами,
городами,
хорошими людьми...
Следы остаются!
Остаются строки.
Остается свежесть
песенной воды.

И если мы пройдем
по лунной дороге,
то и на ней останутся
наши следы!

***

Ю. Марцинкявичюсу

Вы как хотите,
а я за сказкой пойду...
Там
разъяренное солнце
пьют, как лекарство.
В сказке живу я отныне.
И Нерингу[1]
жду.
Скоро домой возвратится
моя великанша.
Скоро она затаенным взором
мир озарит.
Дюны замолкнут.
Зашепчутся травы дремотно.

Левую руку
я положил на залив.
Правой рукою
глажу Балтийское море.

[1] Неринга — героиня народных литовских легенд.

***

Что такое Нида?
Это
ветра сонное ворчанье.
Запах моря.
Всплески света.
Крики оголтелых чаек...

Что ж такого
в этой Ниде —
голубой,
зеленой,
белой?
Сказочники,
отдохните!
Вы рассказывали
бедно.

Что такое Нида?
Это
деловито,
монотонно
незадолго до рассвета
голос
пробуют моторы.
Вечером идут на отдых
катера,
ветрами терты.
И в резиновых ботфортах
рыбаки
как мушкетеры.

Ох, уж эта Нида!
Разве
покидать ее
захочешь?
Нида тишиною дразнит.
И травинками щекочет.
Держит Нида каждым дюймом,
наплевав на возраженья...
И меня
прижало к дюнам
невозможным притяженьем!
Небывалой силы
небо,
небывалых красок
море
уговаривают нежно,
чертыхаются крамольно.

Что такое эта Нида —
я не знаю.
Знаю только:
я за Нидою —
как нитка
за иголкой.
Это точно!..
Здесь нависли глыбы света.
Здесь любое сердце слышно.

В общем Нида —
это...
Это...
Надо видеть!
Лично!

***

Отволнуюсь.
Отлюблю.
Отдышу.
И когда последний час
грянет, звеня,—
несговорчивую смерть попрошу
дать пожить мне.
Хотя б два дня.
И потом
с нелегким холодом в боку —
через десять тысяч
дорог —
на локтях,
изодранных в кровь,
я сюда
себя
приволоку!..
Будет смерть за мною тихо ковылять.
Будет шамкать:
«Обмануть норовишь?!»
Будет, охая, она повторять:
«Не надейся...
Меня
не удивишь...»
Но тогда я ей скажу:
«Сама смотри!»
И на Ниду,
как сегодня,
как всегда,
хлынут
бешеные краски зари!

Станет синею-пресиней
вода.
Дюны вздрогнут,
круто выгнув хребты,
будто львицы,
готовые к прыжку.
И на каждую из них с высоты
упадет
по голубому цветку.
Пробежит по дюнам ветер,
и они
замурлычут,
перейдя на басы.
А потом уснут,
в закат уронив
желтоватые
мокрые носы.
Задевая за тонкие лучи,
будут птицы над дюнами звенеть...
И тогда —
хотите верьте или нет —
закричу не я,
а смерть закричит!
Мелко-мелко задрожит коса в руке.
Смерть усядется,
суставами скрипя.
И заплачет...
Ей,
старухе,
карге,
жизнь понравится
больше
себя!

***

Я родился —
нескладным и длинным —
в одну из влажных ночей.
Грибные июньские ливни
звенели,
как связки ключей.
Приоткрыли огромный мир они,
зайчиками прошлись по стене.

«Ребенок
удивительно смирный...» —
врач сказал обо мне.
...А соседка достала карты,
и они сообщили,
что
буду я не слишком богатым,
но очень спокойным зато.
Не пойду ни в какие бури,
неудачи
смогу обойти
и что дальних дорог
не будет
на моем пути.
Что судьбою,
мне богом данной
(на ладони вся жизнь моя!),
познакомлюсь
с бубновой дамой,
такой же смирной,
как я...

Было дождливо и рано.
Жить сто лет
кукушка звала.

Но глупые карты
врали!
А за ними соседка
врала!
Наврала она про дорогу.
Наврала она про покой...
Карты врали!..
И слава богу,
слава людям,
что я не такой!
Что по жилам бунтует сила,
недовольство собой храня.
Слава жизни!
Большое спасибо
ей
за то, что мяла меня!
Наделила мечтой богатой,
опалила ветром сквозным,
не поверила
бабьим картам,
а поверила
ливням грибным.

***

Про нас твердят,
что мы прямолинейны.
Запальчивы.
Воспитанны чуть-чуть.
Что наши неотесанные нервы
не приспособлены
для тонких чувств...
Так что ж, ребята?
Кто начнет оправдываться?
Кто объяснить сумеет по слогам?..
А впрочем, ну их к бесу!
Надо радоваться,
что мы не нравимся
своим врагам.
Мы им не нравимся
ни в будни и ни в праздники.
Мы им не нравимся
шестнадцать тысяч дней.
Своим существованием
не нравимся!
И нежностью.
И гордостью своей...
Нам Землю славить!
С ложью не смиряться.
Бродить с теодолитом по степи.
Любить и верить.
Думать и смеяться.
И жить!
И новый день
встречать в стихи!

ДРУГ

Мы цапаемся жестко.
Мы яростно молчим.
Порою —
из пижонства,
порою —
без причин.
На клятвы в дружбе крупные
глядим, как на чуму.
Завидуем друг другу мы,
не знаю почему...
Взираем незнакомо
с придуманных высот,
считая,
что другому
отчаянно везет.
Ошибок не прощаем,
себя во всем виним.
Звонить не обещаем.
И все ж таки звоним!

Бывает:
в полдень хрупкий
мне злость моя нужна.
Я поднимаю трубку:
«Ты дома,
старина?..»
Он отвечает:
«Дома...
Спасибо — рад бы...
Но...»

И продолжает томно,
и вяло,
и темно:
«Дела...
Прости...
Жму руку...»
А я молчу, взбешен.
Потом швыряю трубку
и говорю:
«Пижон!!»

Но будоражит в полночь
звонок из темноты...
А я обиду помню.
Я спрашиваю:
«Ты?»
И отвечаю вяло.
Уныло.
Свысока.
И тут же оловянно
бубню ему:
«Пока...»
Так мы живем и можем,
ругаемся зазря.
И лоб в раздумьях морщим,
тоскуя и остря.
Пусть это все мальчишеством
иные назовут.

Листы бумаги
чистыми
четвертый день живут,—
боюсь я слов истертых,
как в булочной ножи...
Я знаю:
он прочтет их
и не простит мне
лжи!

СНЕГ

Этой ночью
первый снег летел в окно.
Этим утром
снег идти не перестал...
Так идет он,
будто кто-то озорно,
как бутылку,
все окрестности взболтал.
И не знает снег,
куда лететь ему,
где найти ему
местечко для жилья.
И забыл он, где земля,
зачем земля,
почему трава и зелень почему.
То идет он сверху вниз,
то снизу вверх —
озабоченный,
растерянный,
чудной...
Я прекрасно понимаю
первый снег,
потому что так же было и со мной.
Время встало.
А потом пошло назад!
Все часы на свете
канули во тьму.
И забыл я, что сказать.
Зачем сказать.

Почему смеяться,
плакать почему.
Шла за осенью
весна,
потом —
зима.
Позабыл я все слова,
все имена.
Позабыл я даже то,
как ты нужна,—
ты об этом мне напомнила
сама.
Очень гордая,
сама пришла ко мне,
равнодушие обидное стерпя.

На твоих ресницах
тает первый снег...
Что б я делал,
если б не было тебя?!

КРИК РОДИВШИХСЯ ЗАВТРА

Все казалось обычным.
Простым...
Но внезапно,
зовя и звеня,
крик
родившихся завтра,
родившихся завтра,
ворвался в меня!
Слышу я:
по Земле,
качаясь, как в зыбке,
не боясь ни черта,
краснощеко и весело
горланят язычники —
нам
не чета!
Я их вижу —
мне время тех дней не застит,
не прячет во мгле.
Я их вижу:
широких,
красивых,
глазастых
на мудрой Земле!..
Я их вижу,
порою таких же усталых,
как в мои времена.
Но они
даже звездам поклоняться не станут
(а не то что чинам!)...

Крик
родившихся завтра,
как сигнал на поверку,
сердцем ловлю...

Кройте!
Кройте,
родные мои Человеки.
Я вас очень люблю.
Матерям не давайте покоя!
Кричите!
Кричите!
Все простится потом...
Я вас так люблю,
как любят мальчишки
босиком
бродить под дождем!
Я вас так люблю,
как влюбленные любят
сумрак лесов...
Я вас так понимаю,
как усталые люди
понимают сон...
Я мечтаю о вас.
Ожидаю вас жадно
ночи
и дни.

Крик
родившихся завтра,
родившихся завтра,
поскорей зазвени!

СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ

Может,
слишком старательно
я по прожитым дням бегу...

Старые фотографии,
зачем я вас берегу?
Тоненькие,
блестящие,
гнущиеся, как жесть...
Вот чье-то лицо пустяшное,
вот чей-то застывший жест.
Вот детство вдали маячит,
кличет в свои края.

Этот насупленный мальчик —
неужто таким
был я?!
Фотограф по старой привычке
скажет:
«А ну, гляди:
отсюда
вылетит птичка.
Ты только смирно сиди».
Он то говорит, что должен,—
профессиональный тон.
«Не вылетела?
Ну что же...
Ты приходи
потом».

И мальчишка на улицу выйдет
и будет думать, сопя:
«Когда ж эта птичка вылетит?
Какая она из себя?
Синяя или оранжевая?»
И мальчишка не будет спать.

К дому,
где фотография,
он утром придет опять.
Будет взгляд у фотографа
сумрачен и тяжел.
Он мальчика встретит недобрым:
«А-а,
это ты пришел!
Шляется тут,
бездельник,
а ты занимайся с ним...
Не вылетит птичка без денег.
Не вылетит!
Уяснил?»

Паренек уйдет осторожно.
Но, исполнить мечту решив,
он будет копить
на мороженом
сэкономленные
гроши.
Через неделю мальчишка
вернется к дому
тому.
И опять
не вылетит птичка,
обещанная ему.

И фотограф тогда ответит —
будет голос жесток:
«Нет этой птицы на свете,
пойми ты это, браток.
Я говорю серьезно,—
зря ты птицу искал».

И мальчишка размажет
слезы

соленые
по щекам.
Покажется маме
на диво
смешною его беда,
что птичка из объектива
не вылетит
никогда...
Он будет плакать.
Не скоро
он забудет свою мечту.

А потом он окончит школу.
А после пойдет в институт.
Поймет он,
как слово
дорого.
Повзрослеет.
Выйдет в отцы.

И все же
не будет любить
фотографов
за то, что они...
лжецы.

СОЛНЦЕ

Это навсегда запомни ты
и людям расскажи...

Солнце
начинает в комнате
строить этажи.
Солнце продолжает древнюю
тихую игру —
тянет сквозь окно
из времени
тонкую иглу.
Вот плывет игла,
раздваивается,
шире становясь.
Ветром
с потолка сдувается
солнечная вязь.
Вот и солнечные зайцы —
эй, посторонись! —
в зеркало,
как в пруд,
бросаются
головами вниз.
И, тугим стеклом отброшенные,
вмиг осатанев,
скачут
легкими горошинами
по крутой стене.
Вся стена —
в неровных линиях,

в крапинках стена...
Солнце
яростными ливнями
хлещет из окна!
Не лучи уже,
а ворохи
нитей
пламенных и сочных...

Съели солнечные волки
зайцев солнечных.

КОСТЕР

Умирал костер, как человек...
То устало затихал,
то вдруг
вздрагивал,
вытягивая вверх
кисти желтых и прозрачных рук.
Вздрагивал,
по струйке дыма
лез,
будто унести хотел с собой
этот душный,
неподвижный лес,
от осин желтеющих рябой,
птиц
неразличимые слова,
пухлого тумана
длинный хвост,
и траву,
и россыпь синих звезд,
тучами прикрытую едва.

ПЕСНЯ

Свет погаснет.
Лысый демон
палочкой взмахнет.
Выйдет на эстраду
тенор —
ручки распахнет.
И, от упоенья млея,
стоя на носках,
станет песнею моею
горло
полоскать.
Мне на муку и на горе
песня задрожит.
Будет песня в медном горле,
будто в клетке
жить.
Рваться из него на волю
в зал полупустой,
получаться неживою,
чопорной,
не той...
Тенор будет нежно мямлить,
томно завывать,
будет он играть бровями,
глазки закрывать.
А в конце,
привычный ужас
в дамочек вселя,
тенор выдаст,
поднатужась,

тоненькое «ля».
И замолкнет деловито.

Под визгливый стон
я тогда на сцену выйду
и скажу:
— Постой!
Ты поешь по всем законам.
Правильно.
И все ж —
эта песня мне знакома —
ты не так поешь!..
Написал я эту песню
ночью
у костра.
Я хотел, чтоб эта песня
не простой была.
Чтоб она из душных спален
позвала людей.
Чтоб ее
хороший парень,
как рюкзак, надел.
Чтоб до неба,
как до крыши,—
искоркам взамен,—
голос
тихий и охрипший
долететь сумел.
И, растаяв в поднебесье,
чтоб зажег зарю...
Мне знакома
эта песня —
честно говорю!

Впрочем, что я здесь толкую
и о чем кричу?
Я ж не написал
такую.
Написать хочу.

СЛЕДЫ

Я люблю,
когда над городом —
снег,
неуверенно кружащийся,
ничей.
Неживой,
мохнатый,
медленный снег
одевает в горностаи
москвичей.
В горностаевом пальто
идет студент.
В горностаи
постовой разодет...
Я люблю смотреть на белую рябь.
Фонари плывут над улицей —
горят.
Как наполненные пламенем
ноли,
по-домашнему
горят фонари.
Пухлый снег идет,
и я за ним бегу.
Снег запутался в сплетенье кустов.

На снегу,
на очень тихом
снегу —
восклицательные знаки
следов!

О ЛИЧНОМ

Щуря глазки-щелочки
на незнакомых
Вась,
шерочка
с машерочкой
танцевали вальс.
Танцевали сдержанно —
туфли берегли...

В перерыве к девушкам
парни подошли.
Слышу я,
как девочки
твердят одно.
Говорят
девочки:
«Снимаемся в кино.
Работа непростая,
но верим
в нее».

А я ведь их
знаю.
Это все —
вранье.
Ведь завтра этим девочкам
не танцевать.
Завтра этим девочкам
рано вставать.
Вяло разговаривая,

сойти
с крыльца.
На седьмом трамвае
доехать до кольца.
Не острить с мальчиками,
а мимо идти
и работать
смазчицами
с восьми
до пяти...
Девочки стыдятся
работы своей.
Стыдятся —
боятся
потерять парней.
Поэтому так долго
врут
про житье.
И совсем недорого
берут за вранье.
Выдумывают деньги,
себя горяча.
Папу —
академика.
Маму —
врача.
Очень увлеченно
говорят,
галдят...

Что они?
О чем они?
Чего
хотят?..

Собою
гордиться.
Личное
найти.
Своего
единственного
встретить в пути.
У него,
у сильного,

обмякнуть в руках.
Хочется красивого
встретить...
А как?
Пусть даже неприметного! —
Лишь бы
своего...

Ну, и что из этого?
Да так...
Ничего...

ВСТУПАЮЩИМ В ЖИЗНЬ

Так и мы входили.
Все правильно.
Состояние
как в бою.
Силы хватит.
Крылья расправлены.
Начинайте
песню свою!

Судьи с тонкими шеями,
судьи
с петушиными голосами,
только начаты
ваши судьбы,
чуть намечены
ваши судьбы.
Вот вам жизнь.
Разбирайтесь сами.
Нате!
Стройте и протестуйте!
О своем
твердите упрямо.
Нате —
мучайтесь!
Нате —
думайте,
в чем вы правы,
а в чем — не правы.
Вот она, безграничная,—
нате!

Этой жизнью
себя наполните.
Все, что мы позабыли,—
вспомните!
Все, что мы не узнали,—
узнайте!
Только сразу не обессудьте,
не ругайте слишком поспешно,—
если вы упадете,
судьи,—
мы подымем вас
твердо и бережно...
Мир дрожит от весеннего грохота.
Вас заботы наши
смешат.

Это — много,
но это и крохотно —
сделать первый
собственный шаг.
Ведь пока для себя вы распутаете
все, что создано было не вами,—
вы еще очень долго будете
говорить не своими словами.
Разбираться в цитатах выспренних,
горевать
от случайных бед,
сомневаться
в известных истинах
и выдумывать
велосипед.

ПЕСНЯ ИНДИИ

Пела женщина,
глаза полузакрыв.
Пела женщина на странном языке.
И звучало слово каждое
как взрыв,
повторяющийся эхом вдалеке...
Эта песня иссушала,
песня жгла,
непонятными путями
к сердцу шла,
нервной дрожью шла по спинам и бокам,
наполняла зал граненый, как бокал.
Зал сжимался,
тихой песней оглушен.

...Будто тот,
кому поет она,
ушел.
Не простился,
не сказал куда —
ушел.
Не сказал, когда вернется он,—
ушел.
Заплутался на шести материках,
и они не могут встретиться никак.

Может, так,
а может, все наоборот...
Звезды дальние пылают, как костры.
Продолжается Земли круговорот...

И я чувствую:
сюда,
через миры,
по Вселенной,
по всему,
наверняка
с колыбели породнившись с высотой,
очень радостный
и очень молодой,
человек идет за песней
сквозь века.
Он идет сейчас по Млечному Пути,
греет руки над мерцающим огнем...
Он
обязан
эту женщину найти,
потому что песня женщины —
о нем.
Слышите,
она зовет:
приди!
Голосом своим зовет:
приди!
Силою любви зовет:
приди!
Песнею своей зовет:
приди!

СЧАСТЬЕ

Чего грустишь,
красавица?
Зачем глаза заплаканные?
Смотри, как парни зарятся
на губы твои ласковые.
Твоим красивым платьям
завидуют подруги...
Зачем тогда ты плачешь
и опускаешь
руки?

Домой идешь ты медленно.
Там печка дышит жарко.
Там жизнь течет размеренно,
ни шатко
и ни валко.
Домой,
где пахнет тестом
из темно-красных крынок
и где подушкам
тесно
на дедовских перинах.
Где много всякой всячины,
где вгрызлись в сундуки
старинные,
висячие,
пудовые замки.
Любительские снимки
приклеены к стене.
Стоят жбаны брусники

на низеньком окне.
Сверчок за печкою поет,
в сарае куры квохчут.

Чего
тебе недостает?
Чего еще
ты хочешь?
Не над тобой ли,
девушка,
мать причитает глухо:
«Расти, моя Надеждочка!
Расти, моя голубка.
Расти —
твои родители
подыщут скоро
зятя,
простого,
обходительного,
умного в хозяйстве...
Расти, моя красивая,—
ни пуха ни пера».

Но за горами синими
есть речка
Ангара...
«Для Наденьки-невестыньки
в шкафу лежит приданое».

Но за горами дальними
живут твои ровесники.
Они ведут машины
сквозь ночь
и сквозь тайгу.
Они едят не жирно
и спят порой
в снегу.
В лицо им хлещут ливни,
кусты
одежду рвут...
Но все равно
счастливее
тебя
они живут!

Но все равно
их песни
повеселей твоих!
И много интереснее
твоей
судьба у них!
Они
не могут сдаться
тайге и мошкаре.
Они
построят станцию
на речке Ангаре!..
Под головами —
ватники.
Мигает лампа сонно...

Быть на деревне
свадебке!
Скрипеть
столам тесовым!..
И ты проходишь по двору
и молча входишь в сени —
в свой дом,
который всеми
зовется
чашей полною.
С глазами входишь мокрыми
домой,
где каждый вечер
орут коты под окнами
совсем по-человечьи.

БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ!

Встать рано утром.
Чуть попозже солнца.
Когда оно за дымкой неплотной.
Когда песок на берегу не жжется.
Когда еще он влажный и холодный...
Встать рано утром.
Чтобы каждым нервом
почуять свежесть
утреннего счастья.
Чтоб сердце было —
настежь!
Окна —
настежь!
Пусть окна,
занавешенные небом,—
одним лишь небом,
тихим и бездонным,
одним лишь небом,
до предела светлым,—
не закрываются...

Уйти из дома.
Бежать к реке
и улыбнуться ветру.
И этим ветром радостным умыться.

Чтоб рядом чувствовать
дыханье
друга,
чтобы под мягкой кожею

упруго
узлами
перекатывались мышцы.
Вода плескалась глухо.
Губы сохли.
Стучало сердце гулко и знакомо.

Завидуйте,
изнеженные рохли!
Вам
никогда не испытать такого!..

А вот по сторонам мелькают маки.
Тобой дорога
как угодно вертит.
Темнеют,
на глазах темнеют майки.
Мир полон пенья птиц.
И солнце светит!..
Ты успеваешь вглядываться зорко
в мельканье леса
и разливы луга.
А линия сплошного горизонта
натянута
как тетива у лука.

Так здравствуй,
скорость!
Вечно здравствуй,
скорость!
Будь счастлив,
человек, тебя узнавший!
Движения
возвышенная гордость,
испытывай
сердца и души наши!
Чтобы травинки
под ноги бросались,
чтобы дорога
длинно распласталась,
чтобы вперед стремиться
всем на зависть
и уставать.
И побеждать усталость!

И снова рваться
зло и вдохновенно,
вдыхать
настоянный на травах ветер!

Да,
если были боги,
то, наверно,
они такими были,
боги эти.
А, что нам боги!
Сумрачно и пресно
они скучали
на своем Олимпе...
А человек
в сто раз богов счастливей.
Быть человеком
много интересней!
Быть
человеком! —
ощущая силы
великие,
какими ты наполнен.

Глотками
пить
завьюженную зиму,
ее хрустящий и промерзший полдень.
Поспорить с высотою поднебесной.
Застыть над бездной.
Помолчать над бездной.
Сдержать восторг.
Мир
заново увидеть.
И облако
рукою отодвинуть.
Помедлить чуть
перед последним шагом
и бросить вызов
царству льда и снега.
И, оттолкнувшись
от земного шара,
взлететь,
сквозное обнимая небо.

Земле кричать,
кричать горам и рекам,
над птицей удивленною смеяться!
Навстречу ветру мчаться!
К солнцу мчаться!

Быть
Человеком!
Слышишь —
Че-ло-ве-ком!!
Глядеть на мир
влюбленными глазами
и чувствовать,
что все тебе подвластно.

Прекрасна
жизнь!
Четырежды прекрасна
планета,
на которой ты
хозяин.

ТАК И НАДО!

Не поможет здесь
ни песня и ни ласка.
В доме все воспринимают без обид
лишь тогда,
когда качается коляска,
мальчик спит...

Слышно:
за стеной соседи кашляют.
Слышно:
ветер
снег сдувает с крыш.

Я не знаю,
что врачи на это скажут,
но, по-моему, отлично,
что малыш,
только именем одним еще отмеченный,
примеряющийся к жизни еле-еле,
ничего пока не видевший,
трехмесячный,—
и уже стоянки
не приемлет.

Так и надо —
он увидит страны разные!
Так и надо —
задохнется на бегу!..

Я с коляски тоже
начал странствия —
до сих пор остановиться
не могу.

***

Я верю:
когда-нибудь,
в будущих зорях,
пройдя над горами и безднами,
предъявим, как пропуск, мы
руки в мозолях
и сердце
с охрипшими песнями.
И будет дождь.
И веселый гром,
рявкнув,
затихнет вдали...

С обветренных лиц
мы пот оботрем
и скажем:
«Ну, вот и пришли».

Будут ракеты мчаться, пыля,
в кромешной, межзвездной мгле...
Минутой молчанья
почтит Земля
тех,
кто лежит в земле.
Тех,
кто, стиснув до боли
зубы,
без всяких красивых поз
по черному снегу
медленно полз,
чтоб грудью закрыть
амбразуру.

Тех,
кто, своих не жалея плечей,
жизнь понимал не из книг
и, произносить не умея речей,
умел разбираться в них.
Тех,
кто, мечту согревая в груди,
не ждал
готовых дорог,
а в трудные дни
ступенькою лег
на общем нашем
пути.

Мы взглядом окинем
страну безбрежную
и снова
плугом,
резцом,
стихом
станем работать...

Да так,
что прежнее
покажется пустяком!

***

Мы судьбою не заласканы.
Но когда придет гроза,
мы возьмем судьбу за лацканы
и посмотрим ей в глаза.
Скажем:
«Загремели выстрелы.
В дом родной
вошла беда...
Надо драться?
Надо выстоять?»
И судьба ответит:
«Да».
Скажем:
«Что ж.
Идти готовы мы...
Но скажи ты нам тогда:
наши жены станут вдовами?!»
И судьба ответит:
«Да».
Спросим:
«Будет знамя красное
над землей
алеть всегда?
Наши дети
будут счастливы?»
И судьба ответит:
«Да».

И мы пойдем!

***

Нахожусь ли в дальних краях,
ненавижу или люблю,—
от большого,
от главного
я —
четвертуйте —
не отступлю.
Расстреляйте —
не изменю
флагу
цвета крови моей.

Эту веру я свято храню
девять тысяч
нелегких дней.
С первым вздохом,
с первым глотком
материнского молока
эта вера со мной.

И пока
я с дорожным ветром
знаком,
и пока не сгибаясь
хожу
по не ставшей пухом земле,
и пока я помню о зле,

и пока с друзьями дружу,
и пока не сгорел в огне,
эта вера
будет жива.

Чтоб ее уничтожить во мне,
надо сердце убить
сперва.

***

Наверное, будут глохнуть историки,
копаясь в тоннах
нашей риторики...
Но —
сквозь любую наносную муть,
которая сверху лежит,—
они должны понять
(и поймут!),
как мы любили
жить!
Жить!
Ладонями землю трогать.
Жить!
Детей качать на руках.
Жить!
И чувствовать друга локоть.
Жить!
И видеть лицо
врага.

***

Я не был еще...
Все, что сказано,
зряшным,
наивным кажется.
Все вышло не так, как виделось.
Не выстрадалось.
Не выявилось.

Меня чудаки
то похваливают,
то ругают,
а то уговаривают.
Дают советы рискованно...
А мне
ни жарко
ни холодно.
Не потому, что начисто
хожу
в чересчур зазнавшихся,
считая разумом собственным
себя
совершенно особенным.
Если бы так,
то яростно
я сам над собой смеялся бы.
Не больно было б,
не горестно
жить,
соблюдая спокойствие.
Но вот все чаще случается:

строчка не получается.
Кровью не наполняется.
Сердцу не подчиняется...
Но вот все чаще случается:
мною
друзья огорчаются.
И мне перед совестью собственной
совестно,
очень совестно.
А тут и приятели ловкие
пути предлагают легкие.
Советы дают подробные...
«А что, если я попробую?!
Себя в это дело
впутаю».

Но это слабость минутная.
И снова,
лишь мне обещанная,
бумага лежит трепещущая.
Приходит крутая бессонница.
И сердце с нею
не ссорится.
Уверенность в сердце высится:
все выскажется!
Все выстрадается!..

А после
с ухмылкой пристойною
я слушаю речи застольные,
взгляды ловлю я жадные,
плюю
на злое брюзжание.
И твердо знаю на будущее:
я не был еще.
Я буду еще!

Из сборника
НА САМОМ ДАЛЬНЕМ ЗАПАДЕ
1963—1964

НЬЮ-ЙОРК СВЕРХУ

Он пока еще
не улей.
Он возник
из-под крыла,
будто тлеющие угли
небывалого костра.
Вот,
гляди,
сползает набок!
Вот,
сейчас помчится
вскачь!
До восторга одинаков.
И до ужаса горяч!..
Люди вымотаны за день.
Восторгаться
людям лень...
Но предельно осязаем
стал цветастый жар
углей!
Мы,
влетая в пытку эту,
бережем глаза свои.
Восходящей
массой света
самолет качнуло
и...
Небо черное в румянце.

Зной
объятья
распростер.
Наши волосы дымятся.
Мы
садимся
на костер!
Он —
под нами
в желтом нимбе.
(Летчик,
друг,
повремени!)
Все мощней,
все объяснимей,
ослепительней
огни.
И уже дома подробны.
И понятно,
что —
куда.
И видна
аэродрома
ровная сковорода.
Соберите волю,
йоги!..
Что мне делать?
Я —
не йог...
Приземляемся в Нью-Йорке!
Надвигается Нью-Йорк!
И назад нельзя
ни шагу.
Мы
бросаемся в него!..
— Жарко будет?
— Очень жарко.
— Перетерпим.
Ни-че-го!

22 НОЯБРЯ 1963 ГОДА

Все в памяти
жестоко и чеканно.
Я выпускаю этот день из рук...
Дождь
над пустынным,
каменным Чикаго.
Обычный дождь.
Негромкий дождь.
И вдруг!..
Как по команде
изменилась улица.
И флаги под дождем
забились тяжко.
И в лифте
всхлипывает негритянка,
как будто почерневшая
от ужаса.
Над городами оторопь повисла,
и ветер зацепился в проводах.
И дождь идет.
И хрипнут телевизоры.
Все сбивчиво.
Все странно.
Все не так...
Америка, послушай!
Вот,
не с кем-нибудь,
с тобой,
с тобою лично!
Слышишь ты?..

Из черной рамки
просто смотрит
Кеннеди
в твои глаза.
Вот так.
Из темноты.
Чего же ты отводишь взгляд,
Америка?
О чем бормочут дикторы твои?
Что объяснить они
тебе намерены,
сверхопытные
телесоловьи?
Ах да, забыл:
ты ж к выстрелам привыкла.
Подумаешь,—
еще один стерпеть!
Подумаешь,—
тебе ль
бояться
выстрелов?!
Подумаешь?!
Подумаешь теперь...
Врываются
лихие и трубастые
сирены полицейские в окно.
О, как твоя полиция опаздывает!
Как громко!
Как шикарно!
Как умно!..
К нам в комнату
вползает сумрак
медленно.
Портрет
к газетной полосе
притерт...
Задумайся!
Задумайся,
Америка!..
В Чикаго
ночь.
В Чикаго
дождь идет.

ТАНЦУЮТ ИНДЕЙЦЫ

Бум!
Это не костюмированный
бал.
Бум!
Это грянул
боевой
барабан...
Бум!
Он рокочет,
как размеренный
пульс.
Вот в него вплетается
звяканье
бус.
В барабанном рокоте
слышится мне:

«Мы когда-то жили
в этой самой
стране.
Мы сейчас шагаем
по отцовским гробам.
Громче,
барабан!
Чаще,
барабан!
Будто бы,
будто бы
все
как тогда,—

наша
земля,
наша
вода!
Наши вигвамы
у Зеленой горы.
За этими деревьями —
наши костры!..
Шли мы на охоту,
как река из берегов.
Только по скальпам
считали мы врагов.
Мы —
люди из племени
Справедливого Орла.
Смейся, бледнолицый.
Твоя взяла!
Смейся, бледнолицый.
Кричи,
воронье...
Это ты
здорово придумал —
ружье.
Это ты
здорово придумал —
спирт.
Кто не убит,
тот как мертвый
спит...
Мы остановились.
Мы глядим,
удивясь:
«Ах, какая шелковая кожа
у вас!
Ах, какие волосы
у ваших жен!..»
А если
по шелковой коже —
ножом?!
А если бы,
а если
посреди тишины
снова позвала бы нас
тропа войны?!

Как бы над росою
свистел томагавк!
Ах, какие скальпы
дымились бы
в руках!
Наши барабаны
выбивали бы
такт.
Не бойтесь!
Не будем.
Это мы...
так...
Это на секунду
нас обожгла
жаркая кровь
Справедливого Орла.
Мы нарежем ленты
из березовой коры.
Смейся, бледнолицый!
Мы —
дикари...
Будем сниться детям твоим
по ночам.
Видишь?
Это пляшет
наша печаль!
Танец наш древнее,
чем отцовский вигвам.
Он,
скорей всего,
не понравится
вам.
Пусть!..

Но заплатите
хотя бы за то,
что мы здесь жили прежде!
А больше —
никто».

КУДА ТЫ ИДЕШЬ?

Машина
мили отмеривает.
Восславьтесь,
бог и престиж!..
Куда ты идешь, Америка?
Куда ты летишь?
Твои автострады
вышколены
и вроде покорны тебе.
Твои автострады
выскоблены,
как пол в крестьянской избе.
Продуты
до каждой пяди,
измотанные мытьем,—
навечно они распяты
на жирном теле
твоем.

Они торопят,
торопят!
Они берут за бока!
По ошалелым дорогам
цветная метет пурга.
Метет
пурга современная,—
чем ты ее запретишь?..
Куда ты летишь, Америка?

Куда ты
летишь?..
Дорога кругла как конус.
В конусе
замкнут мир.

На поворотах скорость
за девяносто миль!
И кто-то проносится рядом
и тормозит,
крича.
И темная автострада —
будто след от бича!
Мелькают слева и справа,
как зыбкие глыбы льда,
похожие на неправду,
молчащие города.
Сейчас они —
как для мебели.
Сейчас их
не разглядишь.

Куда ты летишь, Америка?
Куда
летишь?
Какие
таишь глубины?
Кому их знать довелось?..

В черную жуть кабины
радио ворвалось:
«Кури
сигареты «Пакстон»!»
«Пей
грейпфрутовый сок!»
Фразы бесспорны,
как «баста!».
С размаху хлещут в висок...
Дорога дрожит от ноши.
Дорога длинна,
хоть кричи...
Идет нарастание ночи.

И в этой самой
ночи
орут
твои соплеменники.
Стреляют.
Сходят с ума...

Куда ты летишь, Америка?
Знаешь сама?

ДЕТСКАЯ ИГРА

Облака плывут,
за сосны задевая.
Дунул ветер.
Океаном запахло.

Дети
длинную игру
затевают
на окраине
чистенького парка.
Игры прежние
теперь забыты начисто.
Опостылели
бандиты и индейцы.
Начинается игра.
Начинается!
Называется:
«Убийство президента...»

Президент
в голубом автомобиле
сам отчаянно
крутит педали.
Просит,
чтоб его не сразу убили.
Просит,
чтоб еще чуть-чуть
подождали.
Чтоб не около скамейки,
а после,—

там, где в зарослях
темные проходы...
А за ним охрана
в джинсах ковбойских.
И на поясе у каждого —
кольты.
Охранение
шествует
солидно.
В мягких шляпах,
как ведется на Юге...
Вот пылит на самокате
Жакелина —
долгоногая,
в коротенькой юбке...
Президент красив.
Он скорость повысил.
Он охрану обгоняет бесстрашно.

И тогда-то
из кустов
хлещет выстрел!
А потом еще!
И несколько сразу!..
Президент из машины выползает
и, шатаясь,
ковыляет к скамейке.
Не помогут доктора!
Он
занят.
Бесконечно занят
собственной смертью.
Игры прошлые его закалили.
Подойти к нему жену
попросите...
Почему-то
в глазах у Жакелины
абсолютно настоящие
слезинки.

Солнце пыльное
на части дробится.
Духота вокруг.
А мне сейчас морозно!..

Я смотрю:
охрана
ищет
убийцу.
Не взаправдашно ищет.
Понарошку...
На аллеях беготня,
трещат залпы.
За моей спиной
слегка дрожит ветка...

А во что они
начнут играть
завтра,—
дети
громыхающего
века?

ПАМЯТИ ХЕМИНГУЭЯ

Уходят,
уходят могикане.
Дверей не тронув.
Половицами не скрипнув.
Без проклятий уходят.
Без криков.
Леденея.
Навсегда затихая...
Их проклинали
лживо,
хвалили
лживо.
Их возносили.
От них отвыкали...
Могикане
удивлялись и жили.
Усмехались и жили могикане.
Они говорили странно,
поступали странно.
Нелепо.
Неумно.
Неясно...
И ушли,
не испытав
страха.
Так и не научившись
бояться.
Ушли.

Оставили
ветер весенний.
Деревья,
посаженные своими руками.
Ушли.
Оставили
огромную землю,
которой очень нужны
могикане.

СТИХИ О СЕБЕ

Бар,
табаком растерзанный.
Коктейли,—
хоть стой, хоть ложись.

«Ну, как вам,
мистер Рождественский,
эта красивая жизнь?
Такое у вас бывает?
Ответьте
без ложных поз.
Здорово здесь «загнивают»?
Что?
Завидно небось?..»

Шагает
мистер Рождественский
по мелькающей авеню.
Толкутся рекламы дерзкие,
конкретные, как меню.
Развешанные,
как неводы.
Издеваясь,
дразня,
дерзя...
Вроде бы
верить
не во что,
а все ж не поверить нельзя.

Думает
мистер Рождественский,
что завтра в десять утра
орава
корреспондентская
снова скажет:
«Пора!»
И будет
допрос с пристрастьем.
И будут
в иглах слова.
И снова придется
драться!
И это —
как дважды два!..

Шагает
мистер Рождественский
сквозь мельтешащую муть.
Идет он по улице —
тесной,
как ботинки,
которые жмут.
И нарастают тени.
И нелегко на душе.
И завтра пройдет
неделя,
а кажется —
месяц уже...

Тоскует
мистер Рождественский
о словах
«дорога домой».
О человечке потешном,
которому
хлынул седьмой.
Еще —
о губах торжественных.
Еще —
о пустых лесах.

О слишком ревнивой
женщине.
О добрых
ее глазах.

Шагает
мистер Рождественский
сквозь чей-то гортанный смех...
А где-то —
хрупкий,
растерянный —
на землю
падает снег...
Мистер
машин не слышит.
По улице,
как по тропе,
идет он в отель.
И пишет
вот эти стихи.
О себе.

ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ

Каждый последний четверг ноября американцы празднуют День благодарения. Это праздник в честь первых поселенцев, появившихся на Американском континенте.

Слишком солнечный четверг
праздником оказывается!
Вспомним песни прошлые.
Вспомним танцы древние...
Слышишь,
как колокола
широко
раскачиваются?
День благодарения!
День благодарения!..
По улицам,
дразня, плывут особенные запахи.
И даже в утлые углы
залезть они решаются.
На самом Ближнем Западе,
на самом Дальнем Западе,
стреляя салом в поваров,
сейчас индейки жарятся!
Скоро на столах задышат
заварные пудинги.
Скоро хрустнут на зубах
коричневые корочки.
На усталых животах
расстегнутся пуговицы.

Станет жарко в городе!
Станет пьяно в городе!
День благодарения!
Блестят глазенки
у детей.
День благодарения!..
И сразу же добрею я:
ведь для меня
давным-давно
каждый день,
любой день —
День благодарения!
День благодарения!..

Я благодарю село
по имени Косиха,
благодарю за доброту,
за ощущенье истины.
Суматошным друзьям
я говорю:
«Спасибо!»
И низко кланяюсь земле.
Моей земле.
Единственной.
Я на ней
узнал
мир.
Я на ней
от вьюг
слеп.
Обошел я на ней
все леса и просеки.
Ел я каменный хлеб.
Черный хлеб.
Трудный хлеб.
И его благодарю
до последней крошечки!

Я благодарю судьбу
с ее прямыми сроками
за то,
что было солнечно.
За то,
что было ветрено.

На колени становлюсь.
Ладонью
землю трогаю.
Говорю своей земле:
«Будь во мне уверена».
Как звонят колокола!
Вблизи
и в отдалении.
Как звонят колокола!
А может, это кажется?..
Над моею головой
солнце
раскачивается.
День идет.
Жизнь идет.
Жизнь благодарения.

МОГУТ!

Небоскребик выстроить —
проще, чем плюнуть.
Легче,
наверное,
нет ничего.
(Если, конечно,
имеются люди,
которые могут
построить его.)

Пока вы спите,
пока вы курите,
пока вы в дешевом кино
рыдаете,
взрослые дяди играют в кубики.
Ах, как играют
взрослые дяди!
С каким упоеньем.
С какою жадностью!
Как они гладят стекло любовно!
Тоннами двигают!
Это им — запросто!
Это —
работа.
Работа!
Работа!
Это привычные жесткие ритмы.
Пот выступает и сохнет на лбу...
И вы, пожалуйста,
уберите

пренебрежительную губу.
Не отворачивайтесь напрасно...
А мне это нравится!
Мне это
дорого!
Я вспоминаю:
у нас
на Братской
вот так же я
цепенел от восторга!
Руки к бетону рвались до зуда.
Небо накаливалось
без зари.

Стоит
прозрачнейшая сосулька
и заманчиво светится изнутри.
Плывет
зачарованно и неизбежно,
под вздохами ветра легонько дрожа.
Хрустальный
стакашек.
Стеклянная
песня.
Ступенька
в семьдесят два этажа...
А парни
руки под краном моют.
Прощаются
и исчезают вдали...

Могут ребята!
Здорово могут!
Могут,
дьявол их побери!

ГОРОД АНГЕЛОВ

А. Сахнину

Начинается город ангелов,
город ангелов —
Голливуд.

Люди в панике,
люди ахают:
«Вот где эти кумиры живут!..»
Кинозвездочки,
кинозвездашечки,
кинодвигатели эпох.

Полисмен
улыбается старчески —
даже он в Голливуде
не бог.
Даже солнце
стыдливо катится...
Кинозвезды
царствуют тут!
Так они длинноноги,
что кажется —
ноги
прямо от шеи растут.
Кинозвезды туги, как пружины.
Кинозвезды спешат на корт.
Кинозвезды меняют машины
и любовников
каждый год.

А еще —
избегают мяса,
берегут фигуру свою.
А еще
обожают сниматься,
а еще —
давать интервью.

Подойдет кинозвездочка,
глянет,
улыбнется вовсю,
а потом
репортеру
такое ляпнет,
что в конвульсиях репортер!..
Но зачем быть умным,
в сущности,
им —
берущим у жизни свое?..

Киноленты на студиях сушатся.
Киноленты шуршат,
как белье.
А потом
континенты млеют
от волненья
на тысячи верст!
И девчонки
в постельной лени
вспоминают повадки «звезд».
И солдаты
несут у сердца
на оскал
орудийных дул
королев
стриптиза и секса,
абсолютно божественных дур!..

К нам на землю
слухи просачиваются —
сам,
за что купил,—
продаю:

голливудские
кинокрасавчики
стали ангелами в раю.
Бог печется об их здоровье.
Бог волнуется —
как живут?
Там, на небе,
для них построен
теплый,
ангельский Голливуд.
Там они
основали фирмы.

По свидетельству церкви,
там
киноангелы
ставят фильмы
и показывают
чертям!

СЕКВОЙИ

Сегодня секвойи...
Они поднимаются круто,
как трубы заводов —
прямые
протяжные трубы.
Сегодня секвойи...
Горчащий
дымящийся воздух.
А что
производит
природа
на этих заводах?
А может, по веткам
струится
дыханье планеты?..
До самого верха
секвойи
заполнили небо.
И очень спокойно,
стволы вознося в неизвестность,
бормочут секвойи:
«Мы —
гордость природы.
Мы —
вечность.
Мы —
ваши молитвы.
Мы —
ваших сердец откровенность.
И ваши былины.
И ваши надежды.

Мы —
вечность.
Смотрите, как сразу
дубы закачались под ветром.
А нам он
не страшен.
А мы неприступны.
Мы —
вечность.
Смотрите:
стреляется гений,
в себе разуверясь.
Смотрите!
А мы остаемся.
Мы —
вечность.
Вы где-то внизу.
Вы смешны.
Вы почти незаметны.
Сюда вас везут
показать,
что такое бессмертье!
Смотрите!
На вашей земле затеваются войны.
Мы —
выше сражений.
Мы очень мудры.
Мы —
секвойи...
У нас
тишина.
И приказывать нам
бесполезно.
Прохладно-темна
колоннада секвойного леса...
Мы —
вечность.
Поверьте.
Так было
вчера и сегодня.

Какой нужен ветер,
чтоб вы застонали,
секвойи?

В КЛУБЕ МИЛЛИОНЕРОВ

Или обманули,
или адрес неточен.
Тихая идиллия
почти семейных
пар.

Может, это папы
развлекают дочек?
Но отчего
лоснятся глазки
у пап?
Может, это дяди
вывезли племянниц?
(Тоже, посочувствуете,
нелегкий труд...)
Но отчего
у дяденек
на лысинах румянец,
когда они за локотки
племянниц берут?

Им сегодня весело,
весело,
весело!
Дочки и племянницы
взвизгивают тайком
Надо только выбрать
королеву вечера —
самое главное
на празднике таком.

Выбрать королеву!
Все великолепно...

Старичка у двери
бросило в жар!
Входят
кандидатки
на должность королевы —
в бикинчиках
под музычку
входят в зал.
Они себя
каждому
подносят, как подарок.
Идут между столиками,
показывая загар.
Идут через сопение.
Идут через подагры,
через пепел,
падающий
с дрожащих сигар.
Девчонки
по залу
проходят, не торопятся.
Занятны,
как кроссворды.
Как струночки,
прямы.
Покачивают бедрами.
На эстраде
строятся.
«Смотрите,
выбирайте.
Вот какие мы!»

Которая?
Которая
королева вечера?
Самая-рассамая!
Чтоб лучше
нельзя.
Выбрали!
Вот она —
короной увенчана.

Выверена,
вымерена,
выхолена вся!
Королева вечера,
вечерняя дева.
У нее прическа
как буддийский храм.
Белое тело,
роскошное тело.

Почем
берешь
за килограмм?

ВОСКРЕСНЫЙ ВЫПУСК

Куплю газетку.
Узнаю, кстати,
кого ухлопали нынче ночью.

Они в киосках —
будто на старте,
три килограмма
дразнящей нови.
Три килограмма
шрифтов и краски.
Три килограмма
вчерашней страсти.
Дают навынос.
Берут на выброс...
Куплю газетку.
Воскресный выпуск.

На всю страницу
цветное фото.
Смотрите, люди!
Платите деньги.
«Скандал в Детройте!»
«Прием у Форда!»
«Пресс-конференция
президента!..»
Покажут перья свое искусство.
Огня прибавят.
Гнильцу подпудрят...
И если даже не будет вкусно,
то горячо
непременно будет!
Идете мимо?

Остановитесь!
Смешна потеря в бюджете вашем.
Воскресный выпуск!
Воскресный выпуск!
Три килограмма
замочных скважин!
Такого
даром
нельзя добиться.
В домах, наверно,
прозрачны стены...
Смотри, народ,
на своих любимцев!
Вот их концерты.
Вот их постели.
Вот их пижамы.
Вот их сортиры.
Вот —
развлеченья,
а вот —
привычки...
«Ушел любовник
от кинодивы!»
«Племянник шаха
сбежал с певичкой!..»
Любые тайны
газета выдаст.
Намеков —
масса.
Картинок —
бездна...
Воскресный выпуск,
воскресный выпуск —
три килограмма
сплошного перца.
Три килограмма
пикантной клюквы.
От факта к факту.
От даты к дате.
Не сомневайтесь!
Откройте клювы.
Мы разжевали.
А вы
глотайте!

СОН

Спать!..

Свет выключил.
Закрыл глаза.
Рокочет город за окном.
И крутится калейдоскоп
всего,
что я увидел днем.

Девчонка в красном парике.
Машина.
Нет числа мостам...
А этот говорил:
«Москва...
Я знаю...
Я родился там...»
А тот все повторял:
«Вот-вот!
Загублена
такая жизнь».
Опять —
машина и мосты...
«Что пьете?
Виски или джин?..»

Уснуть.
Немедленно уснуть!
На клетки память раздробить.
Уйти от прожитого
дня.

Для завтрашнего
сил добыть!..
Я засыпаю.
Я молчу.
И шар земной звеняще пуст.
И вновь передо мной лежит
до мелочей знакомый путь.

Скорей туда!
Скорей, скорей!
Вобрать
домашнее тепло.
Опять мы встретимся с тобой,
всем пограничникам назло.
Радары крутятся в ночи.
Рычат ищейки в темноту.
А я смеюсь.
А я иду.
Никем не узнанный —
иду...

Снежинки
тают на руке.
Как странно и просторно мне!
Шагаю через океан —
какой он маленький во сне!
Едва заметны с высоты
хитросплетения границ...
Я к дому подойду.
И ты
почувствуй
и сама проснись!
Колючим деревцем
вернись,
глазастой девочкой
вернись.
(Ты помнишь,
как мы жили там —
подвал
и пять ступенек вниз?)
Огромность торопливых слов.
Величие негромких фраз.
Пусть будет все
как в первый день.

Пусть будет все
как в первый раз.
А если нет,
а если нет,
то пусть упреки,
пусть хула —
я все перетерпеть смогу,
но только чтобы ты
была!
Была в моих руках
и снах.

Чего же медлишь ты?
Настань!
Ты видишь —
я пришел.
Я жду.
Прошу тебя:
не опоздай!..

Уснуть бы...

ОТТУДА

На том
материке
твоя звезда
горит.
На том
материке
ты тоже —
материк!..
Постукивает дождь
по синеве окна.
А ты глядишь на дочь.
А ты сидишь одна.
Прохладно, как в лесу
в предутренней тиши...
Тебя я знаю всю.
(Не слушайте,
ханжи!)

Ты,
как знакомый дом,
не требуешь
похвал.
Открыта,
как ладонь,
понятна,
как букварь...
Но так уж суждено:
и раз,
и два подряд
взглянула ты,

и взгляд —
как белое
пятно!..

Ты
тоже
материк!
Разбуженная глубь...
Я вечный твой
должник.
Я вечный твой
Колумб.
Мне
вновь ночей не спать,
ворчать на холода.
Мне снова
отплывать
неведомо куда.
Надеяться, и ждать,
и волноваться зря.
И, вглядываясь
в даль,
вовсю вопить:
«Земля!!»
Намеренно грубя,
от счастья
разомлеть.
И вновь открыть
тебя.
Открыть —
как умереть.
Блуждать
без сна и компаса
в краях
твоей земли...

И никогда
не кончатся
открытия мои.

КАФЕ «ФЛАМЕНГО»

Кафе называлось, как странная птица,—
«Фламенго».
Оно не хвалилось огнями,
оно не шумело.
Курило кафе
и холодную воду
глотало.

Была в нем гитара.
Ах, какая была в нем гитара!
Взъерошенный парень
сидел на малюсенькой сцене.
Он был непричесан, как лес,
неуютен, как цепи.
Но в гуле гитары
серебряно
слышались трубы,—
с таким торжеством
он швырял свои пальцы
на струны!
Глаза закрывал
и покачивался полузабыто.

В гитаре была то ночная дорога,
то битва,
то злая веселость,
а то
колыбельная песня.
Гитара металась!
В ней слышалось то нетерпенье,
то шелест волны,

то орлиный
рассерженный клекот,
зубов холодок
и дрожанье плечей
оголенных.
Задумчивый свет
и начало
тяжелого ритма...
Гитара
смеялась!
Гитара со мной
говорила.
Четыре оркестра
она бы смогла переспорить.

Кафе называлось,
как чья-то старинная повесть,—
«Фламенго».
Дымило кафе
и в пространстве витало.

А парень
окончил играть
и погладил гитару.
Уже незнакомый,
уже от всего
отрешенный,—
от столика к столику
с мелкой тарелкой
пошел он.
Он шел,
как идут по стеклу,—
осторожно и смутно.
И звякали деньги.
И он улыбался чему-то.
И, всех обойдя,
к закопченной стене притулился.

Я помню,
я помню все время
того гитариста!
Я чувствую собственной кожей,
как медленно-медленно

в прокуренном напрочь кафе
под названьем «Фламенго»
на маленькой сцене
я сам коченею от боли.
Негромко
читаю
стихи.
Улыбаюсь.
А после
шагаю один
посредине растерянной ночи.
От столика к столику.
Так вот.
С тарелочкой.
Молча.

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РОССИИ

Обступили.
В поклонах кренятся.
От улыбок
исходит сияние...
«Переводчика
не потребуется!
Как-никак мы все —
россияне.
Вспомним Родину,
посудачим».

Мы проделали путь неблизкий.
Нас встречают специалисты
по России.
А это значит —
по тебе,
студент из МИИТа,
по твоей смешливой сокурснице.
По солдатам и по министрам,
по ракетчикам и маникюрщицам.
По шахтерам и подавальщицам,
по врачам и церковным обителям.
Есть
по мне
и моим товарищам.
Уважают, стало быть.
Выделили.

Вспомню вежливые манеры,
подойду
и выясню ласково:

«Ну, а как вам служилось
у Власова?
Как с наградами?
Есть ли раненья?
Как работалось в полицаях?
В сорок первом.
В Смоленской области...
Вы, конечно,
себя порицали?
Вы, конечно,
«забыли подробности»?

Может быть,
кенароком вспомните
вы,
клянящиеся Россиею,
ту девчушку
за речкой Полотью.
Как ее вчетвером насиловали.
А потом —
с разрешенья начальства —
все село было начисто выжжено!..
А девчушка
взяла и выжила.
Вот ведь как иногда
получается...

Может, вспомните,
может, расскажете,
как в деревне Большие Камни
вы накрыли раненых
скатертью,
а потом
кололи штыками.
Как прикладами
тыкали в люльки
(то-то было вокруг
веселье!).
Как повешенные
висели
под плакатом:
«Жиды —
не люди».

Как вы зябли в недолгих казармах.
Как вам туго пришлось под Дарницей...»

Дело прошлое.
Дело давнее.
Мы — в гостях
у ваших хозяев.
Мы, насколько можем,
приличны...

Нас встречают
в чужом дому
улыбающиеся специалисты
по России.
Один к одному!

АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ

Мы все поражены:
на поле
вышли
парни.
Тяжелые,
как башни.
Округлы,
как слоны.

Такой снесет,
не ноя,
рояль на пятый этаж.
Такого встретишь ночью —
сам
часы отдашь.

Судья, как повелитель
и главный уговариватель,
уже смахнул пылинки
с мяча
продолговатого.
Потрогал на затылке
остаточек волос.
Подождал затишья,
и...

Началось!
Схлестнулось!
Сшиблось!
Грянуло,
пенясь и клубясь!

Ни бога нет,
ни дьявола!..
Смотри:
дают пас!
Как точно,
погляди-ка!
Не смогли закрыть...
Ну,
золотая дынька,
показывай прыть!

И парень
мчит по краю.
Мчит, как от собак.
Как будто он
ограбил,
по крайней мере,—
банк!
Как будто он
ребенка
вырвал из беды.
Мелькает,
как рыбешка
в кипении воды.
Мяч прижимает к телу,
не видит ничего.

Где ему!
Где ему!
Ох,
как
его!
Подрубленный, подкошенный.
Р-р-р-раз!
И все дела...
А над ним
роскошная
куча мала...
Кончаются силы.
Нет пяти зубов...
А может, это —
символ,
а вовсе
не футбол?

Смотри:
свершилась,
грянула
твоя земная
жизнь!
Ни бога нет,
ни дьявола.
А теперь держись!
Твоя судьба написана.
Не верь
ничьим
слезам.
Бицепсами.
Бицепсами.
Сам!
Сам!
Сам!..
Побежденный стонет.
Смерть глядит
в упор.

Это вам
не что-нибудь.
Футбол!
Футбол!

БЕНЗИНОВАЯ КОЛОНКА

Бензиновая колонка,
бензиновая река.
Бензиновая коровка,
продай
молочка!
Ты пестренькая,
ты добрая,
тихая, как обелиск.
Жуй
законные доллары
и бензинчиком поделись.
Смотри,
какие блистательные,
со всех четырех сторон
фыркающие создания
спешат к тебе
на поклон!
Они по-своему шепчутся,
боднуть норовят людей...
А может быть, ты —
волшебница,
бензиновый чародей!

Так окажи нам
милость:
можешь ты сделать,
чтоб
за тем поворотом вырос
километровый столб?
И, как снегопад,
обрушились

знакомые города,
и чтоб мрачноватый орудовец
сказал:
«На Москву —
сюда».
Пусть он к нам придерется!
Пусть отберет права!
Но пусть
упадут под колеса
твои асфальты,
Москва!
И небо
дрожащей грозою
пусть будет опалено.

Служитель в комбинезоне
«Ноу,—
говорит,—
ноу».
Ладно!
Тогда потерпим.
Ладно!
Тогда пока...
Спасибо за обхожденье,
бензиновая река!
Нас ожидает
сонный
чопорный Вашингтон.
И небольшое посольство —
здешний родимый дом.
Нас ожидают ребята,
презирающие нытье.
Нас ожидает работа —
мы выбрали сами ее.
Но тосковать о детях
вряд ли нам
надоест...

Служитель
считает деньги,
«Йес,—
говорит,—
йес!»

КСТАТИ ОБ ОБЫЧАЯХ

С чужими обычаями
не стоит пререкаться.
Мы не пререкаемся.
Мы это знаем...
Тихие,
неслышные
американцы
не спеша
по городу
гуляют
за нами.
По жаре гуляют.
В дождик гуляют.
Выглядят скромно.
Говорят тихо.
Замкнутые парни
прогулочного типа
очень аккуратно
наш маршрут
повторяют.
Мы идем по улице.
А они — сзади.
Сверлят наши спины взглядом воспаленным.
Мы уже два раза им
город
показали —
просто из машины
и с птичьего полета.
Мы уж с ними ездили
осматривать памятники,
вежливо стерпели доклад монотонный.

Все
сошло
гладко,
кроме легкой
паники —
что-то в их машине случилось с мотором.
Мы их за собою
таскали по музеям.
И они,
наверное, мучаясь искренне,
грустно и лениво
на Рубенса глазели,
споры о Матиссе
слушали издали.
По длиннющим залам
слонялись упорно.
Господа в конгрессе!
Раз
такое
дело,
вы уж оцените эту нашу
заботу
о культурном уровне
работников госдепа.
Вы уж нас, пожалуйста,
как-нибудь отметьте,—
мы же просвещали их
долго и активно...
До глубокой ночи
темнеют на скамейке
замкнутые парни
прогулочного типа.
Будто понимая
взгляды их обидчивые,
спать
мы
уходим.
И они уходят...
Мы не обижаемся.
Есть
такой обычай:
каждый
гуляет,
за кем он хочет.

ЧИСТО ДЕЛОВОЕ ПИСЬМО ИЗ НЬЮ-ЙОРКА СЭМУ ЗВЯГИНУ, ОТЕЧЕСТВЕННОМУ ПИЖОНУ

Привет, Семен!
Как существуешь,
Сэмчик?
Прости,
я не писал тебе давно...
По-прежнему «стреляешь»
без осечек
у предков
по червонцу «на кино»?
Как в институте?
С деканатом ссоришься?
Доказываешь «быдлу»
принцип свой?
Легко ль тебе,
приятель,
мэдиссониться
у рыжей Леночки
на Беговой?
По-прежнему
ритмичен и неистов?..
Но отдохни хоть несколько минут.
Я расскажу, как здесь
танцуют
твисты!

Клуб битников.
Сейчас они начнут.
Клуб битников.
Сейчас они покажут!..
Но подождите!

Что-то тут
не так.
Задребезжало,
задрожало
банджо.
И тихо звякнули
гитары
в такт...
И вышли трое.
И запели трое.
И тени
заметались по стене.
О сонных реках.
О больном ковбое.
И о его измученном
коне...
Овладевая залом постепенно,
тая в себе особенный секрет,
всходили
настоящие напевы
над огоньками
горьких сигарет.
Английские,
еврейские,
ирландские —
необъяснимые, как шар земной.
Шептали грозно.
Рокотали ласково.
Дышали
суеверной стариной.
Текли слова,
простые, будто семечки.
Текли слова,
зовя и теребя...
И мне
предельно жалко
стало Сэмчика.
Тебя, Семен.
Сэм Сэмович.
Тебя!
Твоих невразумительных свиданий.
Лихой
магнитофонной
суеты...

Представь, что вот —
предел твоих мечтаний:
ночной Нью-Йорк.
Клуб битников.
И ты...
Не представляешь?
Извини подвинься!..
Я вижу,
как сюда приходит
он —
Сэм Звягин —
чемпион Москвы по твисту.
Непризнанный,
но все же
чемпион!
Вплывает в зал жестоко и красиво...
Вот девушка.
(Глядит поверх нее...)
— Вы мистер Звягин?
— Да!
— Вы из России...
А ну-ка
спойте
что-нибудь свое.
...Начни, Сэм Сэмыч!
Напрягись,
болезный!
Чего ты вспомнишь?
Мамбо «Домино»?
Огрызочки
репертуара Прейсли?
Но, Сэм!
Ведь это не поют давно.
Тебя ж здесь просто могут
не заметить.
Тогда сиди!
Слова родимые долбай!
Хотя б «Дубинушку»
и «Светит месяц».
Учи,
старик!
Покедова.
Гуд бай!

ДЛЯ НАЧАЛА

Как молоты над наковальнями,
ракеты
стоят под замками.

Давайте
начнем разговаривать,
не грохая кулаками...
Молнии плещут в небе.
Зори восходят сочно.
Планета
висит на нерве.
На тоненьком волосочке.

Бросьте
ваши гарантии,
зряшные эти старания:
«Америка —
за горами!»,
«Америка —
за морями!»
Сейчас
инженеры в моде.
У века
иные законы:
видно, высохло море.
Видно, понизились горы.
Неотвратимо громадны
рыла
ракет сверхновых.
Четко звучат команды.
Руки
лежат на кнопках...

Что же мы?
Так и будем
придумывать
эти забавы?
Что же мы скажем людям,
когда задымят запалы?
Как объяснить успеем?
Что же мы им ответим,
еще не начатым
песням,
еще не рожденным
детям?

Нечего жить
как в тире!
Об этом думать
не вредно.
Хотите
иль не хотите —
настало
такое время.
Время
по-человечьи
жить на земле.
И пока
разно смотреть на вещи.
Молиться
разным богам.
Шаром земным гордиться,
но думать,
дышать по-разному.
Мы вас зовем
не к единству,
а, если хотите,—
к разуму,
к доверию,
к серьезным спорам,
к миру —
людям на радость.

Хотя лобызаться с Фордом
я в общем-то не собираюсь.
И говорю откровенно
навстречу любому ветру:

в свою правоту
я верю!
В свою Революцию
верю!
Слово мое —
железно,
и слова железней —
нету!..
Очень уж
небесполезно
чувствовать эту планету.
Сердцем ее охватывать,
к пульсу ее прислушиваться.

Попробуем разговаривать
без крика.
А вдруг получится?

ПЕСНИ
1955—1964

ТВОЕ ОКНО

Москва прилегла отдохнуть до зари.
На улицах сонных горят фонари.
Уж полночь давно,
но мне все равно
никак не уйти от знакомого дома.
Опять, как вчера,
не спать до утра—
смотреть
на твое окно.

Чего я хочу? И сам не пойму.
Я к дому опять подхожу твоему.
Все шесть этажей
уснули уже,
и только окошко твое не гаснет.
И только одно
не гаснет окно —
это
твое окно.

На улицах города гаснут огни.
Родная моя, поскорее усни.
О чем ты грустишь?
Зачем ты не спишь?
Ведь мне все равно не уйти отсюда.
Опять, как вчера,
не спать до утра —
смотреть
на твое окно.

ПЕСНЯ О МОЕМ ГОРОДЕ

Я понимаю:
не все живут в городах.
Я принимаю
лесные тропинки и горы.
Но, побывав даже в самых красивых местах,
больше всего на земле
я люблю этот город.

Город в тоненькой дымке,
город ранней весной,
город в тихих дождинках,
город в медленный зной.
Город,
где ты невидимкой
рядом со мной.

Как по душе мне
ночей твоих полутьма,
краски бульваров
и улиц, как праздник, внезапных,
где величаво застыли большие дома,
будто они корабли,
уходящие в завтра.

Ты засыпаешь.
Вдали гудят поезда.
Ты засыпаешь,
никем до конца не воспетый.
Люди, не надо, не надо будить города!

Город уснул
и, как руки, раскинул проспекты.

Город в тоненькой дымке,
город ранней весной,
город в тихих дождинках,
город в медленный зной.
Город,
где ты невидимкой
рядом со мной.

БИЛЕТ В ДЕТСТВО

Где-то есть город,
тихий, как сон.
Пылью тягучей
по грудь занесен.
В медленной речке
вода как стекло.
Где-то есть город,
в котором тепло.
Наше далекое детство
там прошло...

Ночью из дома я поспешу,
в кассе вокзала билет попрошу:
«Может, впервые за тысячу лет
дайте до детства плацкартный билет!..»
Тихо ответит кассирша:
«Билетов нет...»

Так что ж, дружище!
Как ей возразить?
Дорогу в детство
где еще спросить?
А может, просто
только иногда
лишь в памяти своей
приходим мы сюда?..

В городе этом сказки живут.
Шалые ветры в дорогу зовут.

Там нас порою сводили с ума
сосны — до неба, до солнца — дома.
Там по сугробам
неслышно шла зима.

Дальняя песня
в нашей судьбе.
Ласковый город,
спасибо тебе!
Мы не вернемся,
напрасно не жди.
Есть на планете
другие пути.
Мы повзрослели.
Поверь нам.
И прости.

ПОРА, ПОРА

У тебя сегодня грустные глаза.
Через час я уезжаю на вокзал.
За окошком по-особому близки
паровозные протяжные гудки.

Что ж,
давай перед разлукой посидим.
Помолчим.
И друг на друга поглядим...
Будто мы с тобою встретились вчера.
А потом ты тихо скажешь мне: «Пора...»
Пора.
Пора.
Ни пуха ни пера!..

Если письма вдруг задержатся в пути,
ты, пожалуйста, не плачь и не грусти.
О любви моей ты знаешь все сама,
знаешь все без телеграммы и письма.

Что ж,
давай перед разлукой посидим.
Помолчим.
И друг на друга поглядим...
У тебя сегодня грустные глаза.
Через час я уезжаю на вокзал.
Пора.
Пора.
Ни пуха ни пера!..

СИНЕВА

Синева, синева,
синева упала с неба.
Высоко над землей
в синеву летят слова.
Я хочу о любви
говорить светло и нежно.
Помоги, синева.
Научи, синева.

И дожди, и снега,
и озер густые сини,
тишина и рассвет,
уходящий за моря,
широта и размах —
это все страна Россия,
где любовь,
где любовь и жизнь моя.

Синева, синева,
синева стучится в двери,
у цветов и людей
синевой глаза полны.
Синева, синева,
я твоим просторам верю,
торжествуй, синева,
от весны до весны.

По земле без числа
города в спокойной силе.
В сыновьях, в дочерях
повторюсь, как песня, я.
Мы в тебе на века,
навсегда, страна Россия,
где любовь,
где любовь и жизнь моя!

КОЛОКОЛА РАССВЕТА

Все у Земли впереди.
Утро,
опять приходи!
Я говорю тебе:
«Царствуй
в моей судьбе!..»

Птицы над миром летят,
люди за ними следят.
Колокола рассвета
пусть над землей
гудят!

Светом наполни, заря,
песни,
сердца и моря.
Жарким взмахни крылом,
всех одари
теплом.

Птицы над миром летят,
люди за ними следят.
Колокола рассвета
пусть над землей
гудят!

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПЕСНЯ

Ты пришла — настала в мире будто весна.
Шар земной
запомнил имя твое.
Все имеет срок,
а ты бессмертна, страна.
Жизнь моя,
дыханье мое.

Я смогу держать в ладонях солнце,
я пройду сквозь годы-времена,
все смогу,
я все на свете смогу,
если ты со мною, страна!

Можно жить без песен, жить от дома вдали,
жить без сна,
шагать в степи без огня.
Но нельзя прожить
без этой вечной земли —
Родины,
вскормившей меня.

Я смогу держать в ладонях солнце,
я пройду сквозь годы-времена,
все смогу,
я все на свете смогу,
если ты со мною, страна!

ТЫ, ЗЕМЛЯ МОЯ

А зори встают будто праздники.
Светлеет на сердце от них.
Великие деды и прадеды
глядят на потомков своих.

Земля дорогая, рассветная,
любовь и забота моя,
с тобою —
такою бессмертною,—
быть может,
бессмертен и я.

Твои перелески извечные,
сады, где поют соловьи,
дороги твои бесконечные,
просторные песни твои.

Однажды под шелесты дождика
уйду я в объятья к тебе.
Но пусть моя песня продолжится
когда-нибудь в чьей-то судьбе.

Земля дорогая, рассветная,
любовь и забота моя,
с тобою —
такою бессмертною,—
быть может,
бессмертен и я.

СТАРИНА УРАЛ

Человек самоцветы горстями брал,
но осталось еще, поверь.
Ой, Урал,
старина Урал,
ты не хмурь
седых бровей.

Спит в долинах медовая травушка,
на озерах туман лежит.
Ой, Урал,
ой, Уралушко,
расскажи,
как надо жить.

Ураган вековой на тебя орал,
но твоя не ржавела сталь.
Ой, Урал,
высота-Урал,
научи,
как сильным стать.

И огни, что рождались вчера еще,
даже с Марса теперь видны.
Ой, Урал,
ой, Уралище,—
становой
хребет страны.

Ты со смертью шутил, ты с огнем играл.
Если грянет гроза, трубя,—
ой, Урал,
постоим, Урал,
ты — за нас,
мы — за тебя!

ПРИЕЗЖАЙ НА САМОТЛОР

Я живу, считай, почти у моря,
да к нему дороги нет.
Я живу
на дальнем Самотлоре,
подо мной —
большая нефть.

Самотлор —
столица нефтяная,
Самотлор —
мой дом родной.
Я ни в чем, поверь,
нужды не знаю,
жаль, что нет тебя со мной!

Сквозь тайгу ведет меня дорога
посреди крутых ветров.
Здесь у нас, помимо нефти,
много
и цветов,
и комаров.

А грибов — корзин и рук не хватит,
никаких не хватит сил!
А зимой
такой снежище валит,
будто он —
на десять зим!

Самотлор —
моя судьба и песня,

Самотлор —
мой дом родной.
Он бы стал еще теплее,
если б
ты была сейчас со мной!

Я тебя прошу при всем народе,
на тебя гляжу в упор:
ты купи билет
в «Аэрофлоте»,
приезжай
на Самотлор!

А ИЗ ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ

Над широкой рекою,
над доброй водой
вырос город Тольятти,
такой молодой.
Распахнул он над Волгой
два светлых крыла,
и она, словно сына,
его обняла.

А из города Тольятти,
как по скатерти,
с долгожданным ветерком вперегонки
выбегают «жигуленки»,
словно капельки,
словно капельки Волги-реки.

Засияли улыбки
парней и девчат,
и моторы, проснувшись,
тихонько урчат.
Оттого и машины
у нас хороши,
что заложены в каждой
частицы души.

Мы себя испытали
и счастье нашли,
и летит наша песня
по трассам земли.
Есть в хорошей работе
своя высота,

и дорога просторна,
как наша мечта.

А из города Тольятти,
как по скатерти,
с долгожданным ветерком вперегонки
выбегают «жигуленки»,
словно капельки,
словно капельки Волги-реки.

ПЕСНЯ О БОЛЬШОЙ ЗЕМЛЕ

Над холодною льдиною
северный ветер
пролетает, поземкой пыля.
Но поем мы о том,
что на свете, на свете
есть большая, как небо,
Земля.

Есть Большая Земля —
с полями,
с лесами.
Есть луга,
где ромашки цветут,
где озера глядят голубыми глазами.
Есть Земля, где нас любят и ждут.

С нашим домиком полюс
почти по соседству —
ледяные, немые поля.
Но поем мы о том,
что у самого сердца
и Москва,
и Большая Земля.

Вьюга в наше окошко
стучится свирепо,
по округе снега расстеля.
Пожелай,
пожелай нам счастливого дрейфа,
дорогая
Большая Земля.

Ты, Большая Земля —
с полями,
с лесами.
Вы, луга,
где ромашки цветут,
где озера глядят голубыми глазами.
Ты, Земля, где нас любят и ждут.

ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ ПРО ЗЕМЛЮ?

За кормой моего корабля
меркнет светлая точка.
Для тебя это просто земля,
просто берег, и только.
Ты о нем свысока говоришь,
за окошко глазея...
Что ты знаешь про землю,
малыш?
Что ты знаешь
про землю?

Начиналась земля от крыльца,
шла
и влево, и вправо.
Ты ее не поймешь до конца,
если в море
не плавал.
Если ты — оглушенный —
не лез
в штормовое веселье,
что ты знаешь про землю,
малец?
Что ты знаешь
про землю?

Если слышал про «полный вперед!»
только самую малость,
если с палуб не скалывал лед,
так что ногти ломались,
а вокруг не дымилась вода,

словно черное зелье,
что ты знаешь про землю
тогда?
Что ты знаешь
про землю?

Начиналась земля от крыльца,
шла
и влево, и вправо.
Ты ее не поймешь до конца,
если в море
не плавал.
Нам она —
как далекий восторг.
И тоска, и спасенье...
Что ты знаешь про землю,
браток?
Что ты знаешь
про землю?

ПЕСНЯ НЕУЛОВИМЫХ МСТИТЕЛЕЙ

Не печалься о сыне,
злую долю кляня.
По бурлящей России
он торопит коня.
Громыхает гражданская война
от темна до темна.
Много в поле тропинок,
только правда —
одна.

Бьют свинцовые ливни,
нам пророчат беду.
Мы на плечи взвалили
и войну, и нужду.
Что ж, над нашей судьбою неспроста
пламенеет звезда.
Мы ей жизнью клянемся
навсегда,
навсегда.

И над степью зловещей
ворон пусть не кружит.
Мы ведь целую вечность
собираемся жить.
Если снова над миром грянет гром,
небо вспыхнет огнем,—
вы нам только шепните —
мы на помощь
придем!

ПОГОНЯ

Усталость забыта.
Колышется чад.
И снова копыта,
как сердце, стучат.

И нет нам покоя,—
гори, но живи!
Погоня,
погоня,
погоня,
погоня
в горячей крови.

Есть пули в нагане.
И надо успеть
сразиться с врагами
и песню допеть.

В удачу поверьте —
и дело с концом.
Да здравствует ветер,
который в лицо!

И нет нам покоя,—
гори, но живи!
Погоня,
погоня,
погоня,
погоня
в горячей крови.

ТАКАЯ НАМ СУДЬБА ДАНА

Такая нам судьба дана —
мы до конца за это время отвечаем.
Живем без отдыха и сна —
такая нам,
товарищ мой, судьба дана.

Бой гудит,
над веком рея,
стучится в дом
к тебе и мне.
Мы живем в такое время —
нельзя от битвы
оставаться в стороне!

Нельзя глядеть со стороны,
как человечеству враги готовят гибель.
Планету мы спасти должны!
Нельзя,
не смеешь ты глядеть со стороны.

Мы не отступим никогда.
Не зря над нашей головой алеет знамя!
Не зря планета молода.
Товарищ мой,
мы не отступим никогда!

Бой гудит,
над веком рея,
стучится в дом
к тебе и мне.
Мы живем в такое время —
нельзя от битвы
оставаться в стороне!

РЕБЯТА, КОТОРЫХ НЕТ

Встала пшеница спелая.
Тихо плывет рассвет...
Все, что смогли, вы сделали,
ребята,
которых нет.

Голос, к живым взывающий,
в наши сердца проник.
Мы поклялись, товарищи,
прожить
за себя и за них.

Плакать устали матери.
Но через толщу лет
смотрят на нас внимательно
ребята,
которых нет.

Будто склонясь над судьбами,
будто шагая вслед,
нам они стали судьями,
ребята,
которых нет.

Голос, к живым взывающий,
в наши сердца проник.
Мы поклялись, товарищи,
прожить
за себя и за них.

ЧТО ТЕБЕ НУЖНО ДЛЯ СЧАСТЬЯ?

Парень,
о чем ты тревожишься часто,
слушая то, чем наполнен эфир?
Что тебе нужно для счастья?
— Мир!
Мне нужен мир!

Мир, чтоб смеяться,
мир, чтоб трудиться,
мир, чтоб любить и дружить.
Мир, чтоб любовью своею гордиться
и песни о ней
сложить!

Девушка,
ты улыбаешься часто,
взор твой открытый мне дорог и мил.
Что тебе нужно для счастья?
— Мир!
Мне нужен мир!

Люди,
нам надо с друзьями встречаться,
чтобы войной горизонт не дымил.
Что всем вам нужно для счастья?
— Мир!
Нам нужен мир!

Мир, чтоб смеяться,
мир, чтоб трудиться,
мир, чтоб любить и дружить.
Мир, чтоб любовью своею гордиться
и песни о ней
сложить!

ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНЬЕ

Смотри,
какое небо звездное.
Смотри, звезда летит,
летит звезда.
Хочу,
чтоб зимы стали веснами,
хочу, чтоб было так,
было всегда!

Загадай желанье самой синей полночью
и никому его не назови.
Загадай желанье,—
пусть оно исполнится —
будет светло, всегда светло
в нашей любви!

Мне этот час
мечтою кажется,
все соловьи земли
спешат сюда.
И сердце вдруг
по небу катится —
оно звезда теперь,
оно звезда.

Загадай желанье самой синей полночью
и никому его не назови.
Загадай желанье,—
пусть оно исполнится —
будет светло, всегда светло
в нашей любви!

К ВАМ Я ОБРАЩАЮСЬ

Вы, наверно,
станете сердиться,
что слова у песни не новы.
К вам я
не решался обратиться
даже
на Вы.

Может, ни к чему
признанья эти,—
участь незавидная моя.
Многие ребята
на планете
лучше,
чем я.

Знаю,
вы им только прикажите —
в воду и в огонь пойдет любой.
Чем я заслужить могу,
скажите,
вашу
любовь?

Стали вы
судьбою и мученьем.
Сердце я протягиваю вам.
Можете
не придавать значенья

этим
словам.

Можете забыть о них
сейчас же!
Только я их все равно скажу:
вы —
мое единственное счастье.
Верьте!
Прошу.

Может быть,
вы станете сердиться
и, конечно, будете правы.
К вам я
не решался обратиться
даже
на Вы.

СТАНЬ ТАКИМ

В этом мире,
в этом городе,
там, где улицы грустят о лете,
ходит где-то
самый сильный,
самый гордый,
самый лучший человек на свете.

Вновь зима в лицо мне вьюгой дунула,
и навстречу вьюге я кричу:
«Если я тебя придумала,
стань таким,
как я хочу!»

Ходит мимо
в этом городе
и слова пока не слышит эти
самый умный,
самый славный,
самый гордый,
самый лучший человек на свете.

Знаю, скоро
в этом городе
непременно встречусь в день желанный
с самым сильным,
самым честным,
самым гордым,
самым ласковым и самым славным.

Вновь зима в лицо мне вьюгой дунула,
и навстречу вьюге я кричу:
«Если я тебя придумала,
стань таким,
как я хочу!»

ПОЗОВИ МЕНЯ

Я давно снам не верю.
Ты сейчас идешь сквозь огни.
Оглянись на мгновенье,
просто так рукой взмахни.

Если вдруг трудно станет,
если вспомнишь ты
о любви,
позови меня,
позови меня,
хоть когда-нибудь
позови!

Высоко в поднебесье
самый первый гром протрубил.
Ты звучишь, будто песня.
Жаль, что я слова забыл.

Если вдруг трудно станет,
если вспомнишь ты
о любви,
позови меня,
позови меня,
хоть когда-нибудь
позови!

ЧЕРЕЗ МОРЕ ПЕРЕКИНУ МОСТЫ

Где-то посредине земли
люди все мосты развели.
Над водой застыли мосты
и молчат,
как заломленные руки.
Ты видишь,
медленно плывут корабли,
большое солнце
исчезает вдали.
Это для того,
чтоб в ночи
мы друг друга не нашли.

Я свою любовь сберегу,
через море перекину мосты,
если только я поверить смогу,
что идешь навстречу ты!

Зыбкая обманет вода.
Раньше отойдут поезда.
Закричат о чем-то своем,
зашумят
потревоженные птицы.
Холодный ветер
не оставит следа.
В далеком небе
замигает звезда,
словно говоря,
что тебя
не найду я никогда.

Тысячу дорог я пройду,
без вести во тьме пропаду,
только мне и смерть не страшна,
не страшны
и любые испытанья.
Пускай я темную узнаю
беду,
пускай я буду задыхаться
в бреду,—
где бы ни был ты,
все равно,
все равно тебя найду!

Я свою любовь сберегу,
через море перекину мосты,
если только я поверить смогу,
что идешь навстречу ты!

ЗИМНЯЯ ЛЮБОВЬ

Слишком холодно на дворе.
Зря любовь пришла в декабре.
У любви зимой
короткий век.
Тихо падает
на землю
снег.

Снег на улицах, снег в лесах,
и в словах твоих, и в глазах.
У любви зимой
короткий век.
Тихо падает
на землю
снег.

Вот прощаешься ты со мной.
Слышу голос я ледяной.
У любви зимой
короткий век.
Тихо падает
на землю
снег.

Клятвы зимние холодны.
Долго буду я ждать весны.
У любви зимой
короткий век.
Тихо падает
на землю
снег.

СВАДЬБА

По проселочной дороге шел я молча,
и была она пуста и длинна.
Только грянули гармошки
что есть мочи,
и руками развела тишина.

А это свадьба, свадьба, свадьба
пела и плясала.
И крылья эту свадьбу вдаль несли.
Широкой этой свадьбе
было места мало!
И неба было мало,
и земли!

Под разливы деревенского оркестра
увивался ветерок за фатой.
Был жених серьезным очень,
а невеста
ослепительно была молодой!

Вот промчались тройки звонко и крылато,
и дыхание весны шло от них.
И шагал я —
совершенно неженатый.
И жалел о том, что я не жених.

А где-то свадьба, свадьба, свадьба
пела и плясала.
И крылья эту свадьбу вдаль несли.
Широкой этой свадьбе
было места мало!
И неба было мало,
и земли!

ПОЙ, ГИТАРА

К долгожданной гитаре
я тихо прильну,
осторожно и бережно
трону струну.
И она отзовется,
зазывно звеня,
добротою наполнив тебя и меня.

От зари до зари,
от темна до темна
о любви говори,
пой,
гитарная струна!

Я гитару настрою
на лирический лад
и знакомой тропинкой
уйду в звездопад.
«Будь счастливой, как песня»,—
попрошу я ее,
и гитара взорвется, как сердце мое.

К долгожданной гитаре
я тихо прильну,
осторожно и бережно
трону струну.

Ведь бывают гитары:
они зазвучат,
и большие оркестры покорно молчат.

От зари до зари,
от темна до темна
о любви говори,
пой,
гитарная струна!

О ТОМ, ЧТО БЫЛО

О чем ты?
Послушай, о чем ты?
На прошлые дни оглянись.
Давно повзрослели девчонки,
которым в любви мы
клялись.

Куда ты ушла,
я не знаю,
но памяти не прекословь,
наивная, злая, смешная,
мальчишечья наша
любовь.
О самом
о первом, о светлом
гитары порою грустят.
Но то, что мы помним об этом,
пускай нас подруги
простят.

Пускай нас они
не ревнуют
к девчонкам из прожитых дней.
Любимые жены целуют
похожих на нас
дочерей.

БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ

Благодарю тебя
за песенность города
и откровенного, и тайного.
Благодарю за то,
что всем было холодно,
а ты оттаяла,
оттаяла.

За шепот и за крик,
за вечность и за миг,
за отгоревшую зарю,
за смех и за печаль,
за тихое «прощай»,—
за все
тебя
благодарю!

Благодарю за то,
что ты по судьбе прошла,
за то, что для другого сбудешься.
Благодарю тебя
за то, что со мной была,
еще за то,
что не забудешься.

За шепот и за крик,
за вечность и за миг,
за отгоревшую зарю,
за смех и за печаль,
за тихое «прощай»,—
за все
тебя
благодарю!

ТЫ ПОДРАСТАЙ, СЫНОК

Ты подрастай, сынок,
ты подрастай,
моя крохотка.
Поверь, что целый мир
тебя заботливо нянчит.
Твое рождение
гроза приветствует
грохотом!
И солнце восходит.
И птицы запели.
Ты слышишь,
сынок?

Да будет даль светла!
Да будет жизнь твоя
долгою!
Пусть лягут сто дорог,
а если мало, то — двести.
На свете трудно жить.
И все ж на свете жить
здорово!
Пока что поверь мне,
а после —
узнаешь,
почувствуешь сам.

И ты увидишь день,
для одного тебя
созданный,
и в первый раз поймешь,

что есть в груди твоей сердце.
Когда придет к тебе,
придет, как будто луч
солнечный,
сквозная, как ветер,
шальная, как море,
земная
любовь.

И ты узнаешь мир.
И ты шагнешь в луга
росные.
Коснешься облака.
И ощутишь свою силу.
Ты подрастай скорей!
Ведь очень ждут
твоей взрослости
и мама,
и папа,
и очень большая
планета Земля.

НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ

Колышется дождь густой пеленой,
стучатся дождинки в окошко твое.
Сегодня любовь
прошла стороной,
а завтра,
а завтра ты встретишь ее.

Не надо печалиться —
вся жизнь впереди.
Вся жизнь впереди,—
надейся и жди!

Тропинка в лесу запахла весной,
земля разомлела от солнечных дней.
Сегодня мечта
прошла стороной,
а завтра,
а завтра ты встретишься с ней.

Как в поле роса, как в небе звезда,
как в море бескрайнем веселый прибой,
пусть будет с тобой,
с тобой навсегда
большая мечта
и большая любовь.

Не надо печалиться —
вся жизнь впереди.
Вся жизнь впереди,—
надейся и жди!

ПОДРАЖАНИЕ БАРДАМ

Жизнь летит, как шоссе,
от любви до любви.
Полпланеты —
в росе.
Полпланеты —
в крови.

Тают угли в золе,
как огарок свечи.
Полпланеты —
в заре.
Полпланеты —
в ночи.

Я кидаюсь к мечте,
а догнать не могу.
Полпланеты —
в дожде.
Полпланеты —
в снегу.

Я за отблеск в окне
благодарен судьбе.
Полпланеты —
во мне.
Остальное —
в тебе.

ОБЕЩАНИЕ

Степная птица вдаль зовет,
а степь привольна и чиста.
Во мне моя мечта живет,
такая непонятная,
такая непонятная
мечта.

Она горит в моей груди,
ее костер всегда горяч,
и мне всю жизнь за ней идти.
Не плачь, моя хорошая,
не плачь, моя хорошая,
не плачь.

Скажу я: здравствуй и прощай,
пиши, любимый человек.
Ты встречу мне пообещай,
хотя бы после дождичка,
хотя бы после дождичка
в четверг.

Недолго будет дождик лить,
заря взойдет еще не раз.
А мы на свете будем жить,
и молодость не кончится,
и молодость не кончится
у нас.

ПРИХОДЯТ РАССВЕТЫ

На смену закатам
привычно приходят рассветы.
Летит над дорогой
крыло ветрового стекла.
И медленно крутится
очень большая планета,
которая, в сущности,
так безнадежно мала.

Нам эта планета для жизни
пока что удобна,
мы будем ее до конца
для себя открывать.
И мы уезжаем,
мы вновь уезжаем из дома,
быть может, затем,
чтоб о доме своем тосковать.

За слишком короткие письма
ругайте нестрого.
И сами пишите недлинно:
«Дружище, держись!..»
И если однажды
моя оборвется дорога,
заранее знайте,
что это закончилась жизнь.

Почтите товарища
честной минутой молчанья
и крепче сомкните ряды,
чтобы дальше идти.
Я только прошу об одном:
оставайтесь в начале.
Все время — в начале дороги.
В начале пути.

А ДОМА ЛУЧШЕ

Я сейчас не дома.
Я не дома.
В небе синева крута,
бездонна.
Здесь красиво очень, здесь удобно.
Только дома — лучше.
Лучше — дома.

Знаю, что сейчас
над нашим домом
ходит-бродит ветер
добрый-добрый,
и течет-бежит река знакомо
прямо возле дома,
возле дома.

Слышал я не раз
раскаты грома,
видел, как на травах
спит истома,
понял, что земля светла, просторна.
Только дома — лучше.
Лучше — дома.

Я сейчас не дома.
Я не дома.
Здесь красиво очень.
Здесь удобно.
Но готов шагать я долго-долго,
лишь бы очутиться
дома. Дома.

СЫНОВЬЯ

Потянуло теплом от весенней земли,
на пригорке подснежник цветет.
У вчерашних солдат
сыновья подросли —
посмотри и увидишь,
как время идет.

Вот они поднялись, будто солнечный дождь,
я в глаза им с надеждой гляжу.
Может, кто-нибудь скажет:
«Не та молодежь!..»
Может, кто-нибудь скажет.
А я не скажу.

В долговязых парнях я себя узнаю.
Вот, оставив родимый порог,
сыновья начинают
дорогу свою,
но она —
продолжение наших дорог.

Им шагать по земле, вырастая до звезд.
Я завидую им. И горжусь.
Может, кто-то стыдится
нахлынувших слез.
Может, кто-то стыдится.
А я не стыжусь.

ПЕСНЯ РОДИТЕЛЕЙ

Подрастают за день только в сказках,
в жизни редко происходит это.
И не просто дети спят в колясках —
дремлет завтрашний народ планеты.

Хотите ли вы,
не хотите ли,
но дело, товарищи, в том,
что прежде всего мы —
родители,
а все остальное —
потом!
Потом — астрономы,
потом — агрономы,
пилоты,
актеры,
врачи и шахтеры.
Да, прежде всего мы —
родители,
а все остальное —
потом!

Человечек зашагал отважно.
Вот он книжку первую листает.
Кем он станет — это очень важно.
Но еще важней — каким он станет.

Разберемся в этом главном деле,
солнце доброе найдем за тучей.

От того, какими будут дети,
целиком зависит мир грядущий.

Хотите ли вы,
не хотите ли,
но дело, товарищи, в том,
что прежде всего мы —
родители,
а все остальное —
потом!
Потом — астрономы,
потом — агрономы,
пилоты,
актеры,
врачи и шахтеры.
Да, прежде всего мы —
родители,
а все остальное —
потом!

ТРУДНАЯ ПРОФЕССИЯ

Тихие окна
заря занавесила.
Мать над кроваткой склонилась упрямо.
Нету на свете бессонней профессии,
чем
профессия мамы.

Дети
большие и малые —
наша надежда и мука.
Мамы,
учитесь быть мамами!
Это — большая наука.

Я говорю
совершенно ответственно
и без предвзятости и без обмана:
нету на свете труднее профессии,
чем
профессия мамы.

Дети
большие и малые —
наша надежда и мука.
Мамы,
учитесь быть мамами!
Это — большая наука.

ПЕСНЯ СТАРОГО АКТЕРА

Под счастливой звездой я родился,
жизнь качала меня и трясла.
И высокая доля артиста
мне однажды на плечи легла.
Этой участи знаю я цену:
вот я руки свои распростер,
вот сейчас выходить мне на сцену.
Так, как будто идти на костер!

На судьбу мы чужую не зарились,
в этом нас упрекать не трудись.
Дайте занавес!
Дайте занавес!
Ваше слово,
товарищ артист.

Мы в гастрольные шли караваны,
мы читали стихи нараспев.
Ах, какие бывали провалы!
Ах, какой грандиозный успех!
Как сияли прекрасные лица!
И восторг проходил по рядам.
И от счастья, уткнувшись в кулису,
режиссер, как ребенок, рыдал.

Мы на солнце немыслимом жарились,
мерзли мы в поездах до утра.
Дайте занавес!
Дайте занавес!
Нам еще отдыхать
не пора.

Я играл палачей, и героев,
и карманников, и королей.
По ночам меня будит порою
эхо сыгранных мною ролей.
И хотя их никто не оценит,
и хотя я свое отыграл,
смерти я не боюсь,— ведь на сцене
я две тысячи раз умирал.

Буду жить, не ворча и не жалуясь.
И однажды тихонько скажу:
Дайте занавес!
Дайте занавес.
Дайте занавес...
Я ухожу.

СНЫ

Мальчишки уснули,
подушку дыханием грея.
Мальчишки уснули
на теплой ладони страны.
Пожалуйста, тише!
Ведь в это полночное время
снятся ребятам
крутые звездные сны.

Сны, сны, сны
о больших марсианских веснах.
Сны о молчанье Луны,
сны о звездах.
Сны, сны, сны,
приходите почаще, пожалуйста!
Простые сны, великие сны,
сны, сны.

Они вырастают,
веселые мальчики эти.
Они покидают с улыбкой
края тишины.
И где-то на дальней,
еще неизвестной планете
снятся ребятам
земные синие сны.

Сны, сны, сны
о дождях, пролетевших косо.
Сны о разбеге волны,
сны о росах.
Сны, сны, сны,
приходите почаще, пожалуйста!
Простые сны, великие сны,
сны, сны.

ЛЮДИ ГЛЯДЯТ НА НЕБО

Люди глядят на небо.
Небо над ними с детства.
Люди взрослеют.
Люди смеются.
Людям в колясках тесно.
Им напевают мамы
медленно и прекрасно
тихую песню,
сонную песню,
песню, в которой сказка.

Но,
улыбаясь нежно,
будто считая версты,
люди
глядят на небо,
люди
глядят на звезды.

Люди глядят на звезды.
Взгляд их велик и вечен.
Люди мечтают.
Люди взрослеют
и расправляют плечи.
Людям по нраву ветер,
им нипочем туманы.
Сильные люди
вышли в дорогу —
вы не сердитесь, мамы!

Вот,
улыбнувшись нежно,
мир оглядев спокойно,
люди
уходят в небо...
Только
в земле их корни.

НЕОТКРЫТЫЕ ОСТРОВА

Видишь,
птицы летят осторожно
на далекие вспышки огня.
И распахнут весь мир,
и дорога
так и просит:
шагни на меня!

Там, где небо
шторма занавесили,
там, где вязнут в тумане слова,
обязательно
есть неизвестные,
неоткрытые
острова.

И взлетают
соленые брызги,
закипают, нацелясь в луну.
И тяжелые
мокрые бриги
разрезают
большую волну.

Там крутые
права и законы,
там закаты литые, как медь,
и продрогшие
синие горы
ждут людей,
презирающих смерть!

Эти земли
в раскатистом громе,
в незнакомом тревожном дыму
покорятся лишь храбрым,
а кроме —
ни за что!
Никогда!
Никому!

Там, где небо
шторма занавесили,
там, где вязнут в тумане слова,
обязательно
есть неизвестные,
неоткрытые
острова.

ОГРОМНОЕ НЕБО

Об этом, товарищ,
не вспомнить нельзя.
В одной эскадрилье
служили друзья.
И было на службе
и в сердце у них
огромное небо —
одно
на двоих.

Летали, дружили
в небесной дали.
Рукою до звезд
дотянуться могли.
Беда подступила,
как слезы к глазам,—
однажды в полете
мотор отказал.

И надо бы прыгать —
не вышел полет.
Но рухнет на город
пустой самолет.
Пройдет,
не оставив живого следа.
И тысячи жизней
прервутся тогда.

Мелькают кварталы,
и прыгать нельзя!
«Дотянем до леса,—
решили друзья,—
подальше от города
смерть унесем.
Пускай мы погибнем,
но город спасем».

Стрела самолета
рванулась с небес.
И вздрогнул от взрыва
березовый лес!..
Не скоро поляны
травой зарастут...
А город подумал:
«Ученья идут...»

В могиле лежат
посреди тишины
отличные парни
отличной страны.
Светло и торжественно
смотрит на них
огромное небо —
одно
на двоих.

СОДЕРЖАНИЕ

Поэтический мир Роберта Рождественского (Предисловие А. Бочарова) 5

СТИХОТВОРЕНИЯ. ПОЭМЫ. ПЕСНИ

ИЗ СБОРНИКА «ИСПЫТАНИЕ» 1951—1956

Речка Иня 19
Ожидание 21
Утро 24
Выбор 27
Последняя песня 30
О разлуке 32
В пути 34
Странный февраль 35
«Девчонки опаздывают на свиданья...» 36
«Приходить к тебе, чтоб снова...» 38
Без тебя 39
«Любовь. Мы об этом читали в книжках...» . . . 41
Тысяча мелочей 43
Письмо домой 45
«Слова бывают грустными...» 47
Моя любовь (Поэма) 48

ИЗ СБОРНИКА «ДРЕЙФУЮЩИЙ ПРОСПЕКТ» 1956—1959

«Я уехал от весны...» 70
Облака 72
Немного экзотики 74

На Дрейфующем проспекте ты живешь... 77
Подъем флага 80
«Восемьдесят восемь» 82
Хребет имени Ломоносова 85
Горячий Север 88
Аврал 89
Арктическая болезнь 91
Про медведя 93
Мираж 95
Нелетная погода 97
К вопросу о полярных «волках» 100
Ушел самолет 104
Вьюга 106
Летчики 109
Северное 112
«Не ревнуй меня к дороге...» 114
Ровесникам 116
«Некрикливо и незаметно...» 118
Возвращение 119

ИЗ СБОРНИКА «НЕОБИТАЕМЫЕ ОСТРОВА» 1959—1962

Часы 121
Людям, чьих фамилий я не знаю 123
«Пишите о главном...» 126
Весенняя Валя 128
Необитаемые острова 131
Тогда 134
В сорок четвертом 136
В защиту воспоминаний 139
Игра в «Замри!» 142
Ревность 144
Богини 146
«Будь, пожалуйста, послабее...» 148
Ливень 150
Жизнь 152
Тем, кто не видел землю вблизи 154
В гостинице 157
На плесе 159
«Полны подвалы Эгера...» 162

Чардаш 164
Сердце в руках 167
«На Севере был я однажды...» 169
Стыдливые 172
Взрослеют люди 174
Творчество 176
Аркадию Райкину 178
Окна, которые нарисованы 180
Париж, Франсуазе Саган 182
Пресмыкающиеся 186
О дорогах 188
Перемещенный 190
Озеру Иссык-Куль — традиционное 193
Вечер в горах 196
Памятник Пржевальскому 197
Стадион 199
Под водой 201
Рыбаки 203
Реквием (Поэма) 205
Пятнадцать минут до старта (Диалог) 219

ИЗ СБОРНИКА «РОВЕСНИКУ» 1959—1962

Стихи о моем имени 229
Ягоды 232
Память 235
«Голос начищенной меди...» 237
«— Почем фунт лиха?..» 239
Концерт 241
Засуха 243
Рассказ директора районной конторы «Заготзерно» 245
«Нахохлятся тяжелые колосья...» 249
Перед расставанием 250
Города 252
«Я жизнь люблю безбожно!..» 254
Таежные цветы 255
Слышишь?! 257
Реки идут к океану 259
Пельмени 261
Твой голос 264
То, что встречается на каждом шагу 266
Здесь «болеют» так... 268

Варна 270
Телеграммы 272
«Невероятное спасибо, дюны!..» 275
«Песок размахнулся надменно и голо...» 277
«До самого горизонта мерцает зовуще и вечно...» 279
«Вы как хотите, а я за сказкой пойду...» 281
«Что такое Нида?..» 282
«Отволнуюсь. Отлюблю. Отдышу...» 284
«Я родился — нескладным и длинным...» 286
«Про нас твердят, что мы прямолинейны...» . . . 288
Друг 289
Снег 291
Крик родившихся завтра 293
Старые фотографии 295
Солнце 298
Костер 300
Песня 301
Следы 303
О личном 304
Вступающим в жизнь 307
Песня Индии 309
Счастье 311
Быть человеком! 314
Так и надо! 318
«Я верю: когда-нибудь, в будущих зорях...» . . . 319
«Мы судьбою не заласканы...» 321
«Нахожусь ли в дальних краях...» 322
«Наверное, будут глохнуть историки...» 324
«Я не был еще...» 325

ИЗ СБОРНИКА
«НА САМОМ
ДАЛЬНЕМ
ЗАПАДЕ»
1963—1964

Нью-Йорк сверху 327
22 ноября 1963 года 329
Танцуют индейцы 331
Куда ты идешь? 334
Детская игра 337
Памяти Хемингуэя 340
Стихи о себе 342
День благодарения 345

Могут! 348
Город ангелов 350
Секвойи 353
В клубе миллионеров 355
Воскресный выпуск 358
Сон 360
Оттуда 363
Кафе «Фламенго» 365
Специалисты по России 368
Американский футбол 371
Бензиновая колонка 374
Кстати об обычаях 376
Чисто деловое письмо из Нью-Йорка Сэму Звягину, отечественному пижону 378
Для начала 381

ПЕСНИ
1955—1964

Твое окно 384
Песня о моем городе 385
Билет в детство 387
Пора, пора 389
Синева 390
Колокола рассвета 392
Торжественная песня 393
Ты, земля моя 394
Старина Урал 395
Приезжай на Самотлор 396
А из города Тольятти 398
Песня о Большой Земле 400
Что ты знаешь про землю? 402
Песня неуловимых мстителей 404
Погоня 405
Такая нам судьба дана 406
Ребята, которых нет 407
Что тебе нужно для счастья? 408
Загадай желанье 409
К вам я обращаюсь 410
Стань таким 412
Позови меня 413
Через море перекину мосты 414
Зимняя любовь 416
Свадьба 417
Пой, гитара 418

О том, что было 420
Благодарю тебя 421
Ты подрастай, сынок 422
Не надо печалиться 424
Подражание бардам 425
Обещание 426
Приходят рассветы 427
А дома лучше 428
Сыновья 429
Песня родителей 430
Трудная профессия 432
Песня старого актера 433
Сны 435
Люди глядят на небо 436
Неоткрытые острова 438
Огромное небо 440

Рождественский Р. И.

Р 62 Собрание сочинений. В 3-х т. Т. 1. Стихотворения; Поэмы; Песни. 1951—1964./Предисл. А. Бочарова.— М.: Худож. лит., 1985.— 447 с., портр.

В первый том Собрания сочинений вошли стихотворения, поэмы, песни 1951—1964 годов из сборников «Испытание», «Дрейфующий проспект», «Необитаемые острова», «Ровеснику», «На самом Дальнем Западе».

Р $\frac{4702010200\text{-}254}{028\ (01)\text{-}85}$ подписное

ББК 84Р7
Р2

Роберт Иванович
Рождественский

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ I

Редактор
Н. КРЮКОВ

Художественный редактор
Е. ЕНЕНКО

Технический редактор
В. НЕФЕДОВА

Корректоры
И. МАКАРЕВИЧ,
Л. ЛОБАНОВА

ИБ № 4015

Сдано в набор 29.10.84. Подписано в печать А10368 от 12.05.85. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Журнально-рубленая». Печать высокая. Усл. печ. л. 23,52+ +1 вкл.=23,57. Усл. кр.-отт. 23,57. Уч.-изд. л. 19,4+1 вкл.= =19,46. Тираж 75 000 экз. Изд. № III-1821. Заказ № 3968. Цена 2 р. 40 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Новобасманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28